



ЧАРМЕН КРЕЙГ

МИСС БИРМА

РОМАН

18+

Чармен Крейг
Мисс Бирма

«Фантом Пресс»

2017

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Крейг Ч.

Мисс Бирма / Ч. Крейг — «Фантом Пресс», 2017

ISBN 978-5-86471-883-4

Драматичная и трогательная история семьи, оказавшейся в эпицентре одной из самых жестоких бурь XX века. Роман о любви и войне, колониализме, этнической принадлежности и кровных узах. Через историю пары Бенни и Кхин и их дочери Луизы читатель узнает о судьбе целой страны – Бирмы. После учебы в Калькутте Бенни поселился в Рангуне, в то время входившем в состав Британской империи, и влюбился в Кхин, девушку из народа каренов – преследуемого этнического меньшинства. Когда Юго-Восточную Азию накроет Вторая мировая война, Бенни и Кхин вынуждены будут бежать от японцев в восточную часть Бирмы. После войны британские власти заключат сделку с бирманскими националистами, которые получают контроль над страной. И начнется продолжительная гражданская война. У Луизы, старшей дочери Бенни и Кхин, будет бурное и опасное военное детство, но незадолго до падения диктатуры она станет первой королевой красоты Бирмы. И хотя на девушку обрушится слава и она окажется в центре внимания всей страны, ей придется лавировать между новым миром и старым, в котором спрятано прошлое ее народа. Роман основан на истории родных писательницы, ее бабушки и дедушки.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-86471-883-4

© Крейг Ч., 2017
© Фантом Пресс, 2017

Содержание

Пролог	7
Часть первая Обращение 1926—1943	8
1	8
2	15
3	20
4	28
5	37
Часть вторая Революции 1944—1950	46
6	46
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Чармен Крейг Мисс Бирма

© Мария Александрова, перевод, 2021

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2021

* * *

*Памяти моей матери, Луизы, и ее родителей, Бена и Кхин, –
рожденных в Бирме*

А также Эндрю, Аве и Изабелл

Возьмите историю Бирмы. Вот мы вторглись туда. Нас поддерживали местные племена. Мы победили. Но так же, как и вы, американцы, мы в те дни не были колонизаторами. Напротив, мы заключили мир с королем, вернули ему его владения, а наших союзников бросили на растерзание: их распинали и четвертовали. Они ни в чем не были виноваты, они ведь думали, что мы останемся. Но мы – либералы, мы хотели, чтобы у нас совесть была чиста.

Грэм Грин. «Тихий американец»¹

¹ Перевод Р. Райт-Ковалевой и С. Митиной. – Здесь и далее примеч. перев.

Пролог

Вот она, Луиза, в свои пятнадцать выходит к центру сцены на рангунском стадионе имени Аун Сана² в 1956-м. *Покажи им себя*, думает она. И тут же одна рука ложится на талию, подбородок дерзко вскидывается вверх, очертания бедер выставлены на всеобщее обозрение, мускулистые икры – все открыто взглядам сорока тысяч зрителей, сидящих в полумраке трибун.

Дай им то, что им нужно, советовала мать. И сейчас Луиза понимает: мать имела в виду нечто гораздо большее, чем вид ее золотистых сандалий на высоких каблуках (одолжила у подруги, ужасно натирают пальцы), большее, чем формы, подчеркнутые белым платьем (сшито по фотографии Элизабет Тэйлор). Мама имела в виду образ надежды. Хотя само появление Луизы на этой помпезной сцене в финале конкурса «Мисс Бирма» – это, скорее, образ смутной угрозы. Она почти обнажена, блестящий наряд едва скрывает то, что надлежит скрывать. Невинная и непорочная, отставив бедро в сторону, она удерживается на тонкой грани между бесстыдством и достоинством.

Шквал аплодисментов увлекает ее в потоки света. Луиза поворачивается, демонстрируя жюри и зрителям вид сзади (за удачную наследственность неимоверная благодарность ее еврейскому отцу, сидящему вместе с матерью где-то на трибунах). Теперь перед ее глазами другие финалистки, девять, небольшой группой в полумраке в глубине сцены. Улыбки застыли на лицах, глаза сверкают негодованием. «Особенная участница», – недавно назвала ее правительственная газета. Как странно чувствовать себя втиснутой в рамки «образа единства и интеграции», когда она – полукровка, испытывающая неловкость при упоминании ее красоты и расы, – всегда хотела жить без ярлыков. «Мы никогда не побеждаем в тех играх, где должны бы», – сказал ей однажды отец.

Луиза вновь поворачивается, пересекает сцену, проходя сквозь накуренное зрителями облако дыма, взгляд на мгновение задерживается на родителях. Папа отстранился от мамы, его лысеющая голова слегка повернута, она ловит его кроткий взгляд. Сидя под домашним арестом, он исхитрился получить специальное разрешение, чтобы присутствовать здесь. Видимо, для надежности даже раздобыл приглашение. Мама рядом с ним, совсем наоборот, взволнована и крайне увлечена происходящим. Она чуть не подпрыгивает на месте, глаза светятся гордостью, а еще в них укоризна и даже что-то похожее на боль. *Вперед!* – беззвучно кричит она с трибуны, избегая пересекаться с возмущенным взглядом Луизы.

И Луиза идет вперед – мимо родителей, на авансцену, чтобы встретиться лицом к лицу с улыбающимися членами жюри, и рядами внимательно смотрящих на нее зрителей, и вооруженными солдатами, согнанными на трибуны. Они почти добросердечны, эти аплодисменты, сквозь которые слышатся приступы кашля. Они почти приятны, эти легкие струйки запахов – чьих-то духов, гниющего мусора и земляной сырости. Оно даже отчасти раскрепощает, это предложение себя, собственной полуобнаженности. Неужели все они здесь, в Бирме, немножко ненормальные? Они через столько прошли.

Несколько минут спустя, прежде чем на голову возложат корону, зрители вдруг покажутся ей толпой набожных прихожан – или скотом в загоне – и ей инстинктивно захочется сбежать.

Но вот лента ложится на плечо.

В руки суют букет красных роз.

Вспышка камеры.

«Мисс Бирма!» – кричит кто-то с дальнего конца стадиона, как будто из тьмы прошлого.

² Аун Сан (1915–1947) – бирманский генерал, политический деятель, революционер, в 1941–1947 гг. руководил борьбой за национальную независимость от Японии и Британской империи. Национальный герой Бирмы.

Часть первая Обращение 1926—1943

1

Кулачный боец

Когда, почти двадцать лет назад, отец Луизы впервые увидел ее мать на пирсе морского порта Акьяб – точнее, когда увидел ее *волосы*, черный блестящий покров, спускавшийся ниже подола платья к запыленным белым лодыжкам, – он напомнил себе: *Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас – единственный*³.

Было у него такое обыкновение, искать убежища от катаклизмов чувств (и похоти) в утешительных словах святого Августина. Верил ли он им? Когда он чувствовал себя безоговорочно любимым – в какой момент, с той самой поры, как был малышом с улицы Тсиикай Маун Таули в еврейском квартале Рангуна? Даже воспоминания о том времени и месте не приносили утешения: дед, читающий Тору в синагоге Машмиа Ешуа⁴, отец за стойкой «Э. Соломон & Сыновья» и большие коричневые круги под глазами у мамы, когда она умоляет его, своего единственного ребенка: *Будь осторожен, Бенни*. Мертвы, все они, умерли от заурадной болезни в 1926-м, когда ему было семь лет.

Будь осторожен, Бенни. Материнская неистовая любовь хранила его – он не сомневался в этом – вплоть до того момента, когда между ним и смертью уже ничего не стояло и его отправили на Манго-лейн в Калькутте, жить с тетками по линии матери, дочерьми покойного местного раввина. Их любовь не шла ни в какое сравнение с маминой. Вялая, пресная, жалкая, неспособная защитить от душевной боли. Поэтому пришлось пустить в ход кулаки, особенно когда мальчишки в его новой еврейской школе дразнили за странный выговор, за чудное бирманское словечко, которое украшало его восклицания. Тетки разобрались с «проблемой кулаков» и тем чудовищным фактом, что на этих кулаках принесена в их дом кровь других мальчиков (*Еврейская кровь! Кровь евреев на его руках!*), выпроводив его дальше – в единственный ближайший пансион с боксерскими уроками, колледж Сент-Джеймс, что на Нижней Морской дороге. Весьма удобное расположение для тетушек, которые успокоили свои опасения относительно христианского уклона школы, утверждая, что никакое заведение серьезной религиозной направленности не стало бы располагаться на улице с таким названием, бодро констатируя – Нижняя *Мирская*. *И к тому же больше никакой еврейской крови на его руках*, отметили они удовлетворенно.

И оказались правы. За следующие пять лет на Нижней Морской его кулаки опробовали всякую разную кровь, *кроме* еврейской: индийскую кровь, кровь бенгали, кровь гуркхов⁵, кровь пенджабцев, кровь тамиллов, кровь малайцев, персидскую кровь, кровь парсов, турецкую кровь, английскую кровь, китайскую кровь и армянскую – много-много армянской крови.

Бедняга Кероб «Армянский Тигр» Абдулян – или как там его звали. В забитом народом спортзале, провонявшем грязными носками, спитым чаем и прогнившим деревом, семнадцатилетний Бенни поколотил его ради венка победителя Межшкольного чемпионата по боксу провинции Бенгали, и никогда еще лицо молодого человека не претерпевало таких физических изменений во имя метафизической идеи. Прежде чем вырубиться в первом же раунде, армя-

³ Не совсем точная цитата из «Исповеди» Августина. В оригинале: «О Ты, благий и всемогущий, Который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом Твоей заботы, и обо всех так, как о каждом!» (пер. М. Сергеенко).

⁴ Единственная синагога в Бирме, основанная общиной евреев-сефардов из Ирака.

⁵ Непальские добровольцы в колониальной армии Великобритании.

нин получил удар левой в подбородок – за то, что сиротка Бенни все еще страдал из-за смерти родителей. Второй удар левой в челюсть он огреб за мир, который допускает, чтобы такое случилось, и еще один за слово «сиротка», которое Бенни ненавидел больше, чем любые антисемитские оскорбления, и которым одноклассники злобно и упорно награждали его. Армянин получил правой в брюхо за всех матерей и отцов, тетюшек и дядюшек, дедов и опекунов – колонизированных граждан «цивилизованной» Британской империи, за всех скопом, – которые ссылали своих отпрысков в пансионаты вроде Сент-Джеймса в Индии. Но ни один из этих ударов не смог повергнуть Тигра. Нет, уложил его на пол, а зрителей поднял на ноги ураган ударов, вызванный тем, что Бенни краем глаза заметил на трибунах появление юной темнокожей новичатки, сестры Аделы, с которой он едва ли перебрисился парой слов, но которая – вплоть до сегодняшнего дня – с педантичной пунктуальностью являлась на все его поединки.

Он воспринимал ее присутствие на матчах как своего рода упражнение в служении – ему или школе (и, в более широком смысле, Богу?). Сейчас, как только рефери начал отсчет над поверженным армянином, сестра Адела в своих белых одеждах застыла рядом с группой учеников, чья бурная поддержка Бенни лишь оттеняла ее невозмутимость, внимательный взгляд черных глаз был устремлен на него. Но когда поединок так внезапно и победно прервался и Бенни пытался выбраться из толпы поклонников, хлынувших на ринг, она выскользнула из зала, не замеченная никем, кроме него.

Вечером гордый директор затеял настоящий пир в честь Бенни. Запеченная нога ягненка, жареный картофель, трайфл – но все эти западные кушанья Бенни едва попробовал, поскольку все его внимание было сосредоточено на кончике вилки сестры Аделы – та перебирала на тарелке кусочки еды, склонившись над угловым столом, где сидела вместе с остальными монахинями. Лишь однажды она встретилась взглядом с Бенни, и взгляд ее был столь пронзителен и укоряющ, что все его лицо зануло, особенно распухшая верхняя губа – результат единственного хука правой Армянского Тигра, который Бенни умудрился пропустить. Неужели она сердится на него?

Как будто чтобы избавить его от ответа на этот вопрос, на следующее утро отец забрал ее. Она вышла в облегающем бедра сари ярко-розового цвета, с которым резко контрастировали невыносимо черные пряди, ниспадавшие из узла внизу шеи – самой изящной шеи на свете. Королевская шея, твердил себе Бенни следующие несколько недель, безуспешно пытаясь сосредоточиться на ринге. Удивительно, но его желание драться удалилось из зала вслед за сестрой Аделой.

А месяц спустя от нее пришло письмо:

Милый Бенни,

Помнишь, как я прошла мимо, когда ты сидел в библиотеке и разговаривал сам с собой? Я подумала, ты умом повредился из-за того, что тебя все время лупцевали по голове. Но нет ты читал наставления святого Августина и говорил вслух Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас – единственный. Да, ты произносил это с большой иронией, но я сразу поняла что ты очень славный и глубоко внутри кроткий человек. И возможно ты думал о том же что и я. Что иногда необходимо пожить без человеческой любви, чтобы любовь Бога коснулась нас полнее. Это правда что никакая любовь человеческая не может быть такой незамутненной и глубокой как Божественная ты же согласен? Попытайся, как и я, думать о любви Бога всякий раз когда тебе грустно. О я знаю что ты поступишь наоборот! Что ж пускай это станет проверкой и напоминанием что истинные бунтари непредсказуемы. Я сказала себе Я НЕ СМОГУ ВЫДЕРЖАТЬ твой матч, когда узнала, что отец придет за мной, но потом передумала. Обязательно было так жестоко обойтись с тем парнем? Ты представить не можешь как очень

очень очень счастлива я была, когда ты побил его, так счастлива, что вот опять плачу. О Бенни. Помолись обо мне. Твоя дорогая Сестра Адела теперь жена.

*Сим удостоверяю,
Пандита Кумари (миссис Джайдев Кумари)*

Бенни плыл в Рангун в июне 1938-го, когда циклон, пришедший из Бенгальского залива, схватил пароход в свои неистовые объятия. С каждым креном судна Бенни, стоявший у поручней на верхней палубе, погружался в порывы ветра, выдувавшего из него удушливые годы одиночества в Индии, – годы, закончившиеся мятежным заявлением, что он переходит в веру святого Августина (чей Бог, как он искренне надеялся, любит его так же безусловно, как родители), в ответ тетки предложили исповедаться и готовиться к смерти. К тому времени, когда циклон миновал и в поле зрения показалось мирное устье реки Рангун, он чувствовал себя человеком почти без прошлого.

На причале его встретил служащий «Б. Майер & Компания Лимитед», процветающего предприятия по торговле рисом, которым управлял один из его троюродных братьев. Служащий – молодой англо-бирманец по имени Даксворт – был болтливее всех, с кем Бенни встречался прежде.

– Мне не сказали, что ты такой здоровяк! – воскликнул Даксворт, когда Бенни играючи забросил свой чемодан в повозку, запряженную парой буйволов (он-то воображал, что его встретят на автомобиле, которых на здешних дорогах было приличное количество). – Мистеру Майеру следовало определить тебя взвешивать тюки с рисом, а не штаны протирать в конторе! Не то чтобы служить клерком так уж безнадежно уныло, да и зарплата не безнадежно маленькая. Вполне достаточно, чтобы жить прилично, оплачивать стол и жилье в «Ланмадо ИМКА»⁶. Да ты и не захочешь жить в другом месте. Там полно отличных ребят, много британских офицеров, наполовину белых. А ты же... наполовину индус?

Прежде чем Бенни успел ответить, их накрыло послеполуденным ливнем, и Даксворт кинулся помогать возчику поднимать над повозкой ржавую металлическую крышу. На всякий случай, сообразил Бенни, лучше избегать расовых тем. Не потому что переживал насчет предубеждений – мистер Б. Майер являл собой блестящий пример еврейской успешности. Но ему осточертели ярлыки, которые больше никак его не характеризовали. Его еврейство было милой деталью из детства – да, это часть него, безусловно, но Бенни не видел никаких заметных проявлений еврейства в том человеке, которым стал.

Даксворт рвался взять его под крыло – так же страстно, как Бенни стремился упорхнуть из любых силков, ограничивающих его вновь обретенную в Рангуне свободу. За несколько последующих недель Бенни выяснил, что если он отлично справляется с работой, если старательно возится с документами, если всемерно любезен с парнями в ИМКА (где он был самым юным из постояльцев и всеобщим любимцем), если вознаградит Даксворта искренними улыбками или минутами внимательной беседы, то сумеет сбежать в город в одиночку. И так, каждый вечер после ужина он находил способ ускользнуть по Ланмадо-стрит на Стрэнд, где среди величественных официальных зданий и резиденций, выстроенных британцами, замедлял шаг и вдыхал пьянящий вечерний воздух. Он томился жаждой, отчаянно стремился напиться картинками, по которым тосковал взаперти в Сент-Джеймсе: мужчины, сидящие по обочинам дороги, курящие сигары, жующие бетель или что-то вместе напевающие; индусы, уписывающие мороженое; мусульмане-торговцы, читающие вслух свои священные книги; витрины, рекламирующие специи, консервы и зонтики, лакированные благовонными маслами; металлическое звяканье из слесарных мастерских в переулках, а еще автобусы, велорикши, повозки,

⁶ ИМКА (YMCA, *Young Men's Christian Association* – Юношеская христианская ассоциация) – молодежная волонтерская организация.

босые монахи, китайцы, снующие на велосипедах, и женщины в разноцветных, плотно завязанных саронгах, несущие на головах кунжутное печенье и воду, и редкая не улыбнется, встретившись с ним взглядом. В каком же заточении он был на Нижней Морской!

Болью отозвалось воспоминание, что тетки перестали приглашать его в гости на Манголейн задолго до его заявления об обращении, и пьянящее возбуждение, которое он ощущал здесь, отчасти объяснялось расцветающим в нем чувством причастности. По правде говоря, он знал о Бирме немногим больше того, что преподавали на уроках истории: что этот регион был заселен много веков (или тысячелетий?) назад кучей разных племен; что одно из племен, бирманцы, заняло господствующее положение; что проблема их господства над остальными была разрешена британцами, которые захватили Рангун примерно сто лет назад и продолжали править, гармонично укомплектовывая местными жителями свои гражданские службы и вооруженные силы. Сами названия этих многочисленных племен смущали его неподготовленный слух: шан, мон, чин, рохинджа, качин, карен и так далее. По-бирмански он мог произнести всего несколько фраз, родным языком для него всегда был английский, хотя он мог объясниться на бенгали и хинди и даже на иврите, который всплывал иногда из неотступно преследующего его прошлого. Но когда Бенни проходил мимо этих людей, болтавших на своих непостижимых языках или игравших свою будоражающую музыку, его охватывало могучее чувство общности. Все дело в их дружелюбности, непринужденности, беззаботности, искренней любезности, их любви к жизни, спокойном признании его права быть среди них, хотя в их глазах он, должно быть, выглядел неуклюжей громадиной (и безнадежно бестолковым, способным объясняться только жестами). У него было ощущение, что откуда бы они ни явились (Монголия? Тибет?), сколько бы столетий или тысячелетий назад, они давным-давно согласились с вторжением других людей из других земель – до тех пор, пока это вторжение мирно. Однако у него было не менее ясное ощущение, что они никогда не забывают о прахе скитаний на своих стопах.

«Чертовы граждане», – частенько ворчал Даксворт в тесной гостиной «Ланмадо ИМКА», где каждый вечер после ужина собирались парни и наполняли стаканы коньяком (у Бенни защемило сердце, когда он обнаружил, что выпивка куплена в «Э. Соломон & Сыновья», где когда-то работал его отец). Вечер начинался с партии в бридж, они играли, курили и пили до глубокой ночи, болтали – о девушках, о политике, о славе Британской империи, о великом *Pax Britannica*⁷, благодаря которому в этой стране поддерживается порядок и жизнь течет с образцовой точностью и размеренностью швейцарских часов.

– В отличие от Китая, – встрял в беседу Даксворт в один из таких вечеров, – где джапы⁸ эксплуатируют Манчжурию. Какого дьявола себе думает Гитлер, потакая джапам, а?

Есть в Даксворте что-то тошнотворное, думал Бенни. Он чересчур охотно смеялся, легко терял контроль над собой под воздействием табака и алкоголя. Этот парень никогда не обогрит кровью свои кулаки ради чего бы то ни было – даже если ему достанет мужества поверить во что-то большее, чем жирная пенсия, жирная еда и более-менее жирный выигрыш в бридж. Легковесность Даксворта, кажется, была способом существования: он удобно устроился, ограничив свое общение белыми бирманцами, – и при этом исхитрялся не быть апологетом империализма, против которого восставало все больше и больше бирманцев.

Уже на следующий же день Даксворт во время перерыва на чай наглядно продемонстрировал Бенни мелочность своих взглядов. В конторе они были одни. Даксворт непотребно закинул ноги на свободный стул, поднося к поджатым губам чашку с чаем, и Бенни решил загово-

⁷ Британский мир (*лат.*).

⁸ Так пренебрежительно называли японцев.

речь о бирманском студенте-юристе по имени Аун Сан из Рангунского университета, который поднял бучу по поводу британского присутствия.

– Убежденный антиимперский националист, – добавил Бенни почти восхищенно. – Говорят, он организовал что-то вроде движения. Заявляет, что настоящие господа и хозяева здесь бирманцы, – проклиная британцев и всех остальных вместе с ними.

Под «всеми остальными» Бенни имел в виду людей вроде Б. Майера и себя самого, а также мусульман, индийцев и китайцев и, пожалуй, народности, которые жили тут веками *прежде* бирманцев.

– Эта страна не принадлежит *всем остальным*, – презрительно ответил новый приятель, и Бенни понял, что Даксворт, рожденный от матери-бирманки и отца-англичанина, взирает на мир исключительно с точки зрения собственного превосходства.

Впрочем, Даксворт, по своему обыкновению, не стал заходить слишком далеко и вставать на сторону бирманцев, роскошь *Pax Britannica* его вполне устраивала. И всякий раз, когда в ходе их бесед Бенни пытался повернуть разговор в политическое русло, Даксворт ускользал в окутанные табачными клубами рассуждения об изысканном вкусе британского чая (который он покупал у индийца), и британских хрустальных бокалах (которых у него в помине не было), и британских манерах (которые он демонстрировал крайне редко). Бенни вынужден был признать, что британское правление действительно взрастило дух толерантности, который шел гражданам Бирмы более на пользу, чем во вред. Разумеется, существовала своеобразная кастовая система, на вершине которой находился белый человек, а сразу за ним, чуть ниже, англо-бирманцы; и, разумеется, самые толстые кошельки были у британцев, но в то же время в Бирме царила религиозная терпимость, присутствовало справедливое разделение труда в рамках британской гражданской и военной администрации, и в целом страна процветала. Из того немногого, что прочел Бенни по возвращении в Рангун, он понял, что бирманские правители, которых свергли британцы, вовсе не проявляли такого милосердия (даже в эгоистической форме, свойственной британцам) к тем, кого завоевали они сами.

– Слушай, Бенни, – сказал Даксворт в тот вечер, когда никто не откликнулся на его вопрос о потакании Гитлера японцам, – ты подал прошение?

Парни уже начали игру картами, которые он сдал.

– Какое прошение? – поинтересовался Джозеф, он тоже работал в фирме и квартировал в «Ланмадо».

– Бенни не принимает всерьез нашу работу, Джозеф... слишком «гнетущую»... слишком...

– Эй, ну хватит! – смутился Бенни.

– Так что за прошение? – повторил Джозеф.

– В Таможенную службу Его Величества, – ответил Даксворт. – Она ведь и в самом деле особенная, верно? Ты чересчур ленив для таких дел, Джозеф, а вот Бенни нет. Каким франтом он будет смотреться в белоснежной униформе, а?

Даксворт что, смеется над ним? Это ведь он убеждал Бенни подать прошение на должность младшего офицера – так велико было его стремление обратить Бенни в свою веру в империализм.

– А какой смысл? – спросил Бенни. – Англичан же скоро выгонят.

Некоторое время Даксворт молча разглядывал Бенни сквозь клубы дыма. А потом сказал:

– Твоя проблема в том, что ты веришь в правильное и неправильное. Неужели ты не знаешь, что несчастье отыщет тебя, несмотря ни на что?

В бесцельных блужданиях Бенни временами мерещились промелькнувший в толпе краешек щеки, шея, тонкая рука или прядь черных волос сестры Аделы. Однажды ноябрьским вечером – когда дожди утихли и он забрел куда-то за город – Бенни заметил девушку, тороп-

ливо идущую по пустынной улочке; она неловко семенила, спотыкаясь и путаясь в ярко-пурпурном сари, как будто ее внимание было поглощено чем-то гораздо более важным, чем ходьба. На крутом подъеме, ведущем к пагоде Шведагон, он осознал, что тенью следует за ней, а вскоре понял, что девушка в той же степени чувствует его присутствие, как и он ее, – два камертона, отражающие вибрации другого. Подъем закончился, и по бетонной дорожке девушка стремглав бросилась к пагоде, оглянулась на Бенни, взлетая по полуразрушенным ступеням. И тут он увидел, что ее перепуганные глаза нисколько не похожи на глаза сестры Аделы, и чары рассеялись. Девушка проскочила между двух огромных грифонов и скрылась за золочеными воротами, покрытыми картинами вечных мук.

– Ты дурак, да? – услышал Бенни.

Обернувшись, он увидел индийца. Длинные руки, вяло свисавшие вдоль сухопарого тела, вовсе не были руками бойца – как не было и свирепости в его янтарном взгляде. Наоборот, он выглядел каким-то надломленным, опустошенным. Бенни стало стыдно.

– Ты что, дурак? – повторил мужчина по-английски с сильным бенгальским акцентом.

– Скорее, просто придурок, – попытался отшутиться Бенни.

– Где работает твой отец?

– Простите меня, сэр...

– Я требую, чтобы ты отвел меня к своим родным!

Индиец спустился по ступеням и подошел так близко, что Бенни ощутил табачный запах его дыхания.

– Ты совсем болван? – сказал человек чуть тише. – Пугать малышку, которая хотела всего лишь зажечь свечу в память о матери? Тебе и самому следовало бы почтить умерших. Представляешь, что они думают, когда смотрят вниз и видят, как ты себя тут ведешь? – Вопросы, казалось, выталкивали друг дружку прямо из его трепещущего сердца. – Ты разве не знаешь, что если рядом с мужчиной нет никого рядом, чтобы быть строгим с ним, он должен быть сам строг с собой?

Бенни не нарочно избегал родителей – синагоги Машмиа Ешуа, на кладбище которой они лежали. Но несколько вечеров спустя он все же осмелился забрести в еврейский квартал, где вовсю еще шумел базар. Взгляд перескакивал с сияющих огнями торговых витрин на хлипкие балкончики ветхих домов, про которые отец всегда говорил, что однажды они непременно сгорят. *(Вот погоди, Бенни, еще увидишь. Как они беспечны, как беспечны они с огнем, эти лоточники.)*

Дальше по улице он отыскал лавку «Э. Соломон», уже закрытую и куда менее внушительную, чем ему помнилось. Сквозь пыльные окна Бенни разглядывал в темноте магазина ряды бутылок с крепкими напитками и виски. Всякий раз, когда ему удавалось удержаться и не подходить близко к полкам с товаром, отец награждал его бутылочкой оранжада. О, как булькали пузырьки в узком горлышке бутылки, когда он глотал приторный шипучий напиток. Папа работал *главным кассиром* в «Э. Соломон», снабжавшем британский флот напитками и льдом из своих ледников на речном берегу. *(Военный флот нас охраняет, Бенни. А что, поэтому, приносит морякам облегчение от этой гнетущей жары? Наши лед! Наши газированные напитки!)*

На углу Тсиикай Маун Таули Бенни долго смотрел на их бывшую двухэтажную квартиру, откуда мама приглядывала за ним, пока он играл внизу с мальчишками. Она никогда не была матерью-наседкой, нет, ее любовь была сдержанной: нежно коснуться рукой щеки, чуть скользнуть губами по лбу. Но в своих советах она не скупилась на любовь, внимание и похвалы. *(Ты не должен думать о себе, Бенни. Лишь животные думают только о себе. Худший из грехов – забыть о своей ответственности за тех, кому повезло меньше.)* В ней, казалось, таилась святая отстраненность от низших человеческих побуждений – в ее нежном, вечно печальном

лице, в медленных движениях, в том, как она смотрела на него, как будто всегда из вечности. Благородство и милосердие – вот ее жизненные принципы. Сколько раз она собирала корзинку фруктов для тех, кому повезло меньше? Сколько раз жалобно молилась об исцелении больных, при свете свечей, которые не успел погасить нетерпеливый папа, почтительно скрывавшийся в недрах квартиры. Мама любила петь – тихонько, ненавязчиво, – и ее голос струился из окна на благословляемые ею улицы. А потом... тишина.

Ноги сами принесли Бенни на узкую 26-ю улицу, где темнел контур меноры и надпись «Машмиа Ешуа» над аркой большой белоснежной синагоги. *Машмиа Ешуа – даруй нам спасение*. Он вспомнил значение этих слов, а с ними и отцовский совет: именно здесь он без колебаний должен искать убежища в темные времена. Бенни не мог помнить, где именно на этом кладбище похоронены его родные, но ноги сами отыскивали путь – по заросшей тропинке, к дереву, под которым они лежат. Он опустился на колени, кулаки разжались, и пальцы коснулись прохладных надгробий с надписями на иврите, которые он больше не мог прочесть, а потом Бенни прижался лбом к шершавому камню на маминной могиле. Поднявшийся ветерок донес запах подвядшей зелени, птичка чирикала где-то для своих птенцов или супруга, и он почти расслышал, как мамин ясный ласковый голос произносит: *Я здесь, рядом с тобой, Бенни*.

Мир мертвых оказался чем-то, до чего можно дотянуться и коснуться его; нужно только немного времени и внимания, и вот этот мир вернулся к нему и признал его, соединяя прошлое с той дорогой, на которую он только вступил.

Долго-долго он сидел, прижавшись головой к могиле, суета в душе улеглась, и, прикованный к месту воспоминаниями, он ощущал движение ветра, пение птиц и жизнь в зарослях. Едва занялся рассвет, один из служителей синагоги увидел его спящего, и Бенни проснулся, успев заметить залитые светом облака, прежде чем камень ударил его по щеке.

– Индус! – орал служитель на иврите, ставшем внезапно абсолютно понятным. – Бродяга! Задница! Тебе здесь не капище!

2 С моря

Кхин уже видела этого молодого офицера (англо-индийца?). Она обратила внимание на его руки – сильные и строго вытянутые по швам руки – и заметила, как неустанно патрулировал он порт из конца в конец, будто старался растратить имеющийся у него запас топлива. Однажды она наблюдала, как целеустремленно он мчится на катере к судну, встававшему на якорь в бухте; он стоял рядом с рулевым, скрестив руки на груди, обратив лицо к ветру. Неужели совсем не боится потерять равновесие? Или подсознательно играет с судьбой, как порой поступает и сама Кхин, когда, держа за руку малыша, подбирается к самому краю пирса, на котором стоит и сейчас, в сентябре 1939-го.

Она приехала в Акьяб четыре месяца назад, работать нянкой в доме судьи-карена, который «взял за правило нанимать на работу людей их гонимой расы» – примерные его слова. Ее подопечный, мальчик шести лет, частенько увлекал ее в порт, где с пирса они наблюдали, как взлетают или садятся на волнующуюся поверхность моря гидропланы.

Ей гидропланы нравились не меньше, чем мальчику, нравилось, как с беззвучной грацией они оставляют позади шлейф брызг, – хотя время от времени восхищение омрачала тревога. Иногда Кхин видела, как самолет сбивается с курса, резко качнувшись, и представляла, как он падает с небес подстреленной птицей.

Мальчик ткнул пальцем в серебристую фигурку самолета, взмывающего к облакам, она вздрогнула, решительно потянула его прочь от мокрых досок сходен, ведущих к воде.

– Пора идти, – сказала Кхин.

– Давай подождем, когда он исчезнет, – возразил мальчик.

Ему не рассказали, что Япония воюет с Китаем, что Германия вторглась в Польшу, а Франция и Великобритания объявили ей войну. Кхин чувствовала себя виноватой в этом его неведении, будто, поощряя его привязанность к самолетам, она предавала малыша. Да, она понимала, что глупо воображать, будто *именно эти* самолеты обречены на гибель. «Война никогда не придет сюда, – сказал судья, прослушав вечерние английские новости по радио. – Джапы хотят Малайю. На нашу территорию можно проникнуть только морем, а на море британцы, которые непотопляемы».

– Дома у меня есть для тебя сюрприз, – соврала Кхин. Прикрыв глаза ладонью от слепящего света, постаралась изобразить самую убедительную улыбку.

Мальчик внимательно изучил ее лицо и уточнил:

– Какой сюрприз?

– Скажу дома.

Никакого сюрприза, разумеется, не было, и пока они брели обратно к берегу, подальше от шатких ступеней (а она еще и от навязчивой картины – как ее тело соскальзывает в бушующие волны), Кхин прикидывала, какой небольшой подарок малыш счел бы достаточно неожиданным. Он и так уже сомневается в ней. Может, горничная купит профитролей у индийца, который приходит по средам?

Они были уже на полпути к берегу, когда Кхин подняла взгляд и заметила, что от деревянных ворот порта за ними пристально наблюдает тот самый офицер. Белая фуражка слегка набекрень, он стоит, привалившись к покосившимся шатким воротам, словно перекрывает путь. Даже издали она видела, как беззастенчиво он разглядывает ее бедра, ее волосы. Если бы любой другой мужчина пялился на нее вот так, буквально *пожирая* взглядом, она бы... ну, она *рассмеялась* бы.

Внезапно офицер закричал, выдав неразборчивую мешанину английских слов, из которых она разобрала только «не», которое он произнес с подчеркнутой страстностью и помень-

шей мере дважды. Он определенно велел держаться подальше от пирса (судя по тому, как он потом повернул голову и ткнул рукой куда-то в сторону от моря, она не ошиблась), и его резкость должна была ее уязвить, вот только в его баритоне звучала какая-то добродушная мягкость.

Она остановилась футах в пяти от ворот, держа мальчика за теплую ладонь, порывы свежего ветра доносили морские брызги. Офицер, прищурившись, смотрел ей прямо в глаза, и Кхин почувствовала, что краснеет, любуясь могучей силой, исходящей от него, – тяжелый подбородок, губы слишком пухлые для мужчины, большие уши смешно торчат из-под фуражки. Ничего особенно выдающегося в этой мужской красоте, в крупных чертах (хотя в нем и вправду было нечто слоновье!), ничего необычного в его властных претензиях на территорию порта (все офицеры норовили заявить свои права на Бирму, словно не были такими же подданными его величества короля Англии). Но пришлось признать, что вблизи он оказался гораздо привлекательнее. И что еще неожиданнее (и это она, должно быть, отметила неосознанно) – выражение кротости, почти смирения в его взгляде, особенно явное в контрасте с очевидной физической силой. Даже улыбка, адресованная ей, на которую ее губы невольно откликнулись, таила печаль.

– У нас неприятности, няня? – спросил мальчик.

– Возможно, – тихо ответила она.

Офицер вновь заговорил, объясняя ей что-то по-английски, но тут неподалеку взревел мотор гидроплана.

– Смотри! – воскликнул мальчик, показывая на гидроплан, прыгающий по волнам.

На мгновение все трое замерли, глядя, как самолет взмывает в ярко-голубое небо, закладывает вираж и безмятежно устремляется на северо-запад, будто там, за горизонтом, и нет никакой войны.

– Как же красиво, – расслышала она голос офицера сквозь свист ветра.

Он отодвинулся от ворот. И когда их глаза вновь встретились, она так сильно смутилась, что резко потащила малыша вперед, рывком приоткрыла ворота и почти бегом проскочила мимо оторопевшего офицера.

То, что офицер проявил к ней интерес, она сочла одновременно и приятным, и тревожным, – тревожным, поскольку напомнило, что сама-то она старалась не интересоваться собой из страха обнаружить внутри нечто пугающее.

Она помнила безмятежные моменты из раннего детства, когда отец еще не потерял землю и жизнь, а мать – свою улыбку. Нет, ничего такого, что называют беззаботным детством, у нее не было. Они с младшей сестрой никогда не ходили в школу, вместо этого работали в саду. Но зато вдоволь могли лазать по деревьям, бегать и играть, плескаться в реке, сидеть у мамы на коленях, пока она расчесывала им волосы, и петь.

Пение – вот что было их досугом, искусством, их молитвой и уроками. Они пели Йиве, богу каренов, который, как ее учили, был также и Творцом у христиан⁹. По вечерам, вытянувшись под москитной сеткой, они пели духам сада. А потом, когда и она сама, и сестренка уже погружались в объятия сна, они слушали, как мама пела легенды их народа.

Давным-давно мы пришли сюда по течению песчаной реки. Мы прошли сквозь земли, внушавшие ужас, земли, где не было никаких дорог, где, подобно волнам на морской глади, пески катились под ветром. И мы пришли на эту зеленую землю, к чистым источникам и горным озерам. Пока не оказались среди сиамцев и бирманцев, которые превратили нас в рабов. Они забрали наши алфавит и священные книги, но наши Старейшие обещали приход Мессии.

⁹ В бирманской мифологии бог Йива очень близок иудейскому Яхве.

Белые чужестранцы принесут священную книгу, сказали они. Неустанно возносите благодарности за появление белых людей. Благодарите, сыны леса и дети нищеты, ибо до их прихода мы были бедны и разделены и рассеяны по разным сторонам.

До прихода белых людей мы жили вдоль рек и ручьев, и бирманцы заставляли нас тянуть лодки и рубить ратанговые пальмы. Они заставляли нас ходить за плугом и собирать воск и кардамон, плести циновки, драть кору на веревки, таскать бревна, корчевать пни и расчищать землю под их города. Они требовали даров – ямс, клубни арума, имбирь, красный перец, чай, слоновьи бивни и рога носорогов. Если у нас не было денег, чтобы заплатить им, они заставляли нас брать в долг и тем вновь обращали в рабство. Они заставляли нас охранять их крепости, быть их проводниками в лесах и похищать сиамцев, а руки у нас были связаны. Они секли нас розгами, колотили кулаками, били нас днями напролет, пока многие из нас не пали замертво. Они заставили нас доставлять рис для их солдат, и наши поля пожелтели, и множество людей погибли от голода. Они разлучали и похищали нас, чтобы мы болели от тоски друг по другу или молили о пощаде и быстрой смерти. Мы бежали и скрывались по берегам ручьев, в горных ущельях, чтобы они не отобрали наши рисовые поля и наших женец. Но они находили нас, и возвращали назад, и заставляли селиться возле их городов, где великое множество из нас нашло свой конец.

И в смятении мы молились в зарослях. «Дети и внуки, – гласили древние сказания Старейшин. – Йива спасет наш народ». Мы молились, а дождь поливал нас, и москиты и пиявки кусали нас. «Если Йива спасет нас, пускай спасает скорее. Увы! Где же Йива?» – вопрошали мы. «Дети и внуки, – отвечали Старейшины. – Если нечто приходит по земле, рыдайте; если морем – смейтесь. Оно не придет при нашей жизни, но придет к вам. Если придет морем, вы сможете вздохнуть свободно; но если по земле, вам не останется и клочка ее».

– А как пришли белые чужестранцы, мама? – иногда сонно спрашивала она со своей циновки под москитной сеткой.

С моря! С моря! – отвечала мамина песня, хотя звучала она как горестный плач.

Следующим вечером, когда Кхин кормила мальчика рисом и супом в кухне особняка судьи, она заметила через окно, как перед домом остановился черный автомобиль. Пока из задней двери нерешительно выбирался офицер, она подхватила малыша на руки и уткнулась лицом в его нежную шею.

– Что случилось, няня? – удивился мальчик. – Тебе грустно?

– Давай спрячемся? – неожиданно для себя пробормотала она.

Потом раздался стук, за которым последовал знакомый скрип кресла красного дерева, когда судья вставал.

– Кто-то пришел! – воскликнул мальчик, спрыгивая с ее колен, и кинулся из кухни.

С тех пор как два года назад умерла его мать, визиты гостей стали редкостью.

Кхин напряженно вслушивалась в приглушенный, то оживлявшийся, то затихавший разговор в соседней комнате – внезапные вопросы и рассудительные высказывания судьи, уверенность в ответных репликах офицера, смягченная, как она решила, уважением к судье и нервозностью. До нее доносились только отдельные английские слова («девушка», «порт», «солнышко» или «сынишка»), и неопределенность беседы подкрепляла ощущение, что она на время защищена от столкновения с собственной судьбой.

– Кхин! – позвал судья.

Она встала и, нетвердо шагая, направилась в гостиную; офицер сидел в кресле судьи – фуражка на коленях, волны черных волос приглажены бриллиантином. Он поймал ее взгляд, вежливо кивнул, будто молча умоляя о чем-то, и она быстро отвернулась – к судье, разглядывавшему ее с козетки в другом конце комнаты; малыш сидел у его ног.

– Ты знакома с этим молодым человеком, Кхин? – спросил судья на каренском.

В вопросе не было ничего притворного, как и не было никакого неодобрения. Участливые серые глаза судьи говорили лишь, что он просто хочет услышать ответ.

– Я встречалась с ним раньше.

Если судья и расслышал дрожь в ее голосе, то не подал виду.

– А была бы ты не против встретиться с ним еще разок? – спросил он с мягкой улыбкой. – Он вот очень хочет тебя увидеть. Ты наверняка скажешь, что это смешно, но он уже решил жениться на тебе, если ты, конечно, согласишься.

Она обернулась к офицеру, уши у которого – без спасительного прикрытия фуражки, – кажется, стали еще больше, длинные ресницы жалостливо хлопали, и это вдруг развеселило ее. словно залпом выпив полную чашку рисового вина, Кхин сделалась внезапно восторженно-счастливой, немножко сумасшедшей, голова закружилась... Губы издали странный, едва слышный щебечущий смех, который стал громче, когда на лице офицера проступила глуповатая сконфуженная улыбка (сконфуженная, наверное, от того, что он решил, будто она с судьей обменялись шутками на его счет). Она прикрыла ладошкой рот, веля себе уgomониться и опасаясь, что расплачется, если не удастся, но тут и мальчик почему-то тоже рассмеялся, а вслед за ним хохотнул и судья, и даже офицер подхватил – и какой же у него был звучный, милый, искренний смех!

– Похоже, эта мысль тебе нравится, – заметил судья, когда все отсмеялись.

Она перевела дыхание, беря себя в руки.

– Нет, – тихо ответила она.

– Нет? – удивился он.

– В смысле, да.

– Да?

Офицер вертел головой, явно озадаченный ее ответами, как и она сама. А затем, после долгой паузы, удивил ее, пустившись в мелодичный речитатив исповеданий преданности и сожалений. Он не отводил глаз, и она видела в них страдание, которого не могла постичь.

Судья дипломатично вскинул руку и парой английских слов прервал изливания офицера. Затем обратился к ней.

– Он только что объяснил тебе, Кхин, – начал судья, – что он задержится в Акьябе всего на месяц, после чего его переведут обратно в Рангун... Он говорит, что настолько был поражен твоей красотой, что следил за тобой и Блессингом по пути из порта, за что приносит свои извинения.

– Он белый индеец? – услышала она свой голос.

Судье, кажется, вопрос не понравился, но он все же повернулся к офицеру и принялся расспрашивать. Начал офицер едва ли не шепотом, но судья был настойчив, и ответы становились все более решительными, как ей показалось, более откровенными и даже нетерпеливыми.

– Он ничего не знает о нашем народе, Кхин. Не знает даже, в чем разница между бирманцами и каренами, хотя и родился здесь. Он еврей. Я сказал ему, что ты христианка. Что твоя мать, скорее всего, потребует, чтобы ты венчалась в баптистской церкви, как и ты сама, несомненно, захочешь... Странно, но это его не пугает. Он даже говорит, что из-за этого ты ему еще больше нравишься. Что он практически полухристианин. – На миг судья словно забылся, задумавшись, потом продолжил: – Полагаю, многие из нас, христиан-каренов, тоже полужычники или полубуддисты, если уж на то пошло.

Но не я, хотела она возразить. О, с нее достаточно и язычников, и буддистов, но и от христианства она тайно отреклась много лет назад – после того, что случилось с ее отцом. Нет, судья неправильно ее понял, и Кхин сказала себе, что не должна дальше морочить людям голову. Надо же, ведет разговоры о браке с женщиной, от которого порывалась спрятаться, с женщиной, чьего языка она не понимает!

Мальчик поднялся с пола и начал осторожно подбираться к офицеру, который, как Кхин только теперь заметила, протягивал ему серебристую игрушку – губную гармошку. Глаза офицера на миг встретились с ее глазами, и мелькнула быстрая, такая непринужденная улыбка. Затем он поднес блестящую штуку к губам и извлек звук настолько несуразный, настолько по-детски игривый и бесцеремонный, что все вновь дружно расхохотались, но на этот раз в ее смехе было больше печали, чем страха.

– Можно мне подудеть? – протянул ручку мальчик.

Офицер вытер гармошку о рукав и вручил малышу.

– Оставь нас, Блессинг, – велел судья.

Малыш испарился, унося свое новое сокровище. После его ухода вопросительное томление офицера стало почти физически ощутимым. Кхин попыталась отвести взгляд, но что-то в его глазах притягивало вновь и вновь. *Моя жизнь уже принадлежит тебе*, казалось, говорили они. Разве встречала она когда-либо такое простое, непосредственное, неприкрытое чувство, желание?

– Ты не должна чувствовать себя обязанной, Кхин, – сказал судья. – Это только первая встреча. Я могу сказать ему, что тебе нужно время. Возможно, следует послать за твоей матерью.

– Где он научился так играть? – спросила она, имея в виду губную гармошку, и удивилась своему вопросу.

Судья, отчасти раздраженно, передал ее вопрос офицеру, который прикрыл глаза, отвечая, как будто рылся в укромных тайниках темного прошлого в поисках освещенного уголка.

– Он говорит, что не помнит, – перевел судья, на этот раз несколько более участливо. – Но он думает, что его научила мать. Он говорит, его мать не была такой уж одаренной по части музыки, но она старалась реализовать себя в том, что ей было дано, как и он пытается сейчас, когда остался на свете совсем один. Он говорит, ее голос – единственное, что имело для него глубокое значение.

На мгновение у нее перехватило дыхание, она онемела, едва соображая, что ей следует делать.

– Выслушай меня, Кхин, – снова заговорил судья. – Я в своей профессии повидал всякое. И неплохо разбираюсь в людях. И, глядя в глаза этого парня, я вижу человека, который искренен. И ты должна искренне ответить, даже если придется искренне сказать ему, что ты хочешь, чтобы он оставил тебя в покое.

Но для искренности надо понимать себя, иметь собственное я, обладать тягой к жизни большей, чем к смерти.

– Ну как, я скажу ему, что напишу твоей матери? – спросил судья. – Или велеть ему уйти?

Кхин посмотрела на офицера, на его молодое гордое лицо, светившееся желанием и нетерпением. И ей вдруг показалось, что она может видеть его насквозь, буквально до самого нутра. Что слова ей не нужны. Что ей и без них ясно: в этом мире ему просто нужен человек, с которым можно быть вместе.

А разве ей нужно что-то другое?

3

Кое-что о каренах

Поначалу брак стал отдохновением, которого никто из них не ждал, – по крайней мере, Бенни так показалось.

Признаться, свадебная церемония вышла неловкой – полностью на языке каренов, в построенной из бамбука баптистской часовне в центре деревни недалеко от Рангуна, где жила ее мать. Кхин была прекрасна в длинном белом традиционном платье, с волосами, уложенными в шиньон, который подчеркивал очаровательную округлость ее лица, молочно-белую кожу и сияющие темные глаза, за ухом к волосам были приколоты желтые цветы. Поначалу она казалась отстраненной, какой-то отчужденной, будто отплывала все дальше и дальше от него, стоя рядом у алтаря, но потом вдруг вернулась в реальность и устремила на Бенни теплый, ободряющий взгляд.

По правде говоря, ее мать и сестра ни разу ему не улыбнулись. Священник был из тех женоподобных очкариков, что в яростных проповедях непременно предостерегают насчет демонов и грозят вечными муками (Бенни дважды почудилось слово «Сатана»), а мать и сестра впитывали его речи с такой невозмутимой серьезностью, что Бенни в попытке хоть чуточку развеселить их принялся корчить рожи, изображая, что ни бельмеса не понимает, о чем им тут вещают. Кхин, решил он, слишком смущена и растеряна, чтобы обратить на это внимание, тогда как все прочие приветствовали его гримасы одобрительными смешками. Все, кроме матери и сестры, которые явно сомневались – пусть он в том и не был уверен, – что Бенни подходит для Кхин. Но укоряющая суровость, с какой они взирали на Кхин, подсказывала, что осуждают они не Бенни, а его невесту.

– Отныне ты принадлежишь ей, – сказала ему мать через энергичного священника, который по окончании церемонии немедля обратился в персонального свадебного переводчика.

– Да будь я проклят, если нет! – выпалил Бенни, пытаясь растопить холод в ее глазах, прорваться сквозь сжатые в ниточку губы.

Но даже после витиеватого перевода губы эти не дрогнули. Может, подумал Бенни, мать просто не поняла.

И на церемонию, и на последовавшие за ней гуляния набежала толпа хихикающих деревенских тетушек и мужчин с каменно-суровыми лицами, каждый из которых норовил и поддеть его, и выразить восхищение, и непременно проехать по поводу его размеров. (А может, они потешались не только над его ростом и мышцами, громадными по сравнению с их собственными, но и над его пенисом, который под брюками был гораздо более заметен, чем под саронгом – традиционным одеянием местных мужчин?) Оно было немножко непристойным, их веселье, Бенни прежде не встречался с таким, это веселье одновременно и покорило его, и ввергло в недоумение. И все гости беспрестанно поминали дух отсутствующего отца Кхин, о котором говорили с опасливой отстраненностью, от чего ощущение чужеродности у Бенни лишь нарастало – вместе с осознанием полной своей невежественности по части истории и культуры народа своей невесты.

– Очень печально, но такова жизнь, – пробормотал один из мужчин по поводу отца и его предполагаемой кончины.

– Он был пьян, и вот чего случилось, – сказал другой.

– Не было ни малейшего шанса, даже призрачного, – чуть более милосердно предположил священник, поедая карри прямо пальцами. – Явились ниоткуда, дакойты!

Дакойты, как уже знал Бенни, были одной из проблем, с которыми столкнулись здесь британцы. Бирманские бандиты, которые шныряли по сельской округе, вооруженные мечами

и дремучей верой в татуировки и магию, они известны были своей безжалостностью и полным отсутствием морали.

– Хорошо, что ты не подал прошение о зачислении в полицию, – сказал как-то Даксворт. – Я знавал одного полицейского, друга моего отца. Помню, как он рассказывал, что банда дакойтов сотворила с младенцем – истолкли его в желе в рисовой ступе прямо на глазах у матери.

– Но *зачем?* – Бенни имел в виду, чего, во имя всего святого, они стремились достичь, творя *такое?*

На что Даксворт лишь усмехнулся, словно намекая, что Бенни и представления не имеет о тьме, бурлящей вокруг, которая однажды вспыхнет слепящим светом. И до определенной степени в том, что касается дакойтов, для Бенни все еще царил тьма; их безжалостность, казалось, неявно проистекала из того же источника, что и бирманский национализм, ныне охвативший всю страну и винивший во всем колониальный режим. В те несколько недель перед свадьбой, когда Бенни вернулся в Рангун, чтобы подготовить новую квартиру на Спаркс-стрит, его постоянно настигали новости о том, как молодой адвокат Аун Сан – лидер протестующих, скандирующих лозунг «Бирма для бирманцев!», – основал новую политическую партию, выступающую против поддержки войны Британии с Германией. Он призывал к немедленному освобождению Бирмы от ига империализма и, насколько мог понять Бенни, подчеркивал превосходство этнических бирманцев, тем самым равняясь на нацистские идеи главенствующей расы (нацисты, как Бенни узнал из последних радиопередач, приняли чудовищный закон, что евреи старше двенадцати лет обязаны носить повязку с изображением звезды Давида). Бенни только начинал понимать, что если ты *бирманский гражданин* – то есть представитель одной из народностей Бирмы, – но не *бирманец*, то ты, по бирманским понятиям, откровенно нежелательный элемент.

И он никак не мог выбросить из головы это слово – *нежелательный* — в конце праздника, когда они с Кхин стояли перед часовней; она уже в красно-черном саронге замужней женщины, губы испачканы ярко-оранжевым соком бетеля. Ему не позволено было ощутить вкус этих губ. Карены, как он усвоил, не демонстрируют нежных чувств – по крайней мере, такого рода – публично. Впрочем, не было недостатка в милостивых девушках, которые брали Кхин за руку или нежно пожимали ее запястье в знак близости и нежности; даже мужчины прохаживались по пыльной площади перед часовней, приобняв друг друга. А как же Бенни? Хотя бы просто коснуться Кхин? И вот, поставив их рядом перед часовней, ему сообщили, что теперь они должны ритуально откупиться от целой очереди деревенских, перекрывших узенькую тропинку, ведущую к его «бьюику» и, в широком смысле, их новому дому – тому самому частному пространству, созданному именно ради близости.

– Это часть нашей культуры, – пояснил восторженный священник, указывая на шеренгу деревенских жителей. – Вы должны дать им рупии.

Бенни поймал смущенный взгляд Кхин, потом взял ее руку и вложил пригоршню монет, которые она приняла невозмутимо, почти нехотя, и он поразился ее хладнокровию.

Посмеиваясь, она принялась швырять монетки, которые разлетались сверкающими дугами над веселящимися крестьянами. И Бенни упрекнул себя, что не радуется, что чувствует себя таким неуместным, таким нежеланным, пусть он и устроил целое представление, вывернув карманы и якобы озабоченно демонстрируя, ко всеобщей потехе, свою полную нищету (и зачем он опять изображал из себя кретина?). *Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас – единственный*, напомнил он себе, а потом выбросил фразу из головы, потому что действительно не вспоминал о ней с тех пор, как встретил Кхин месяц назад.

Ну да, свадьба и последующие события наградили его чередой тяжелых разочарований. Но тем не менее.

Тем не менее.

Бенни сам обустроил квартиру, выбрал мебель из тика и красного дерева, включая застекленный буфет и туалетный столик, на который положил благоухающий сандаловый гребень изысканной работы. Именно к этому гребню Кхин потянулась в их первый вечер, когда он проводил ее через маленькую гостиную в спальню, где и поставил ее чемоданы. Ее глаза внимательно исследовали размеры комнаты – не в панике, не в поисках пути к бегству, как ему показалось, но чтобы оценить масштабы жизни, которую ей предлагали. Взгляд задержался на гребне, затем она шагнула к туалетному столику и взяла вещицу в руки.

– Это тебе, – сказал он, и, кажется, она поняла.

Провела пальцем по зубчикам, а он наблюдал за ней. Вот он, благородный и только ему предназначенный образ женщины, в интимный момент осознания и принятия. Теперь ему позволено смотреть; в последний раз такая степень близости была доступна лишь с родителями, которые полагали, что своим примером они помогут ему понять, что значит близость с другим человеком.

Кхин не улыбнулась, но гребень ее определенно растрогал, и Бенни видел, что она успокоилась. Перемена была едва заметна, просто плечи слегка опустились. Покой, родившийся из осознания, что теперь на нее смотрит только он.

Так и не присев за туалетный столик, Кхин повернулась к зеркалу, положила гребень и взглянула на отражение Бенни за ней. Он любовался ею при желтом свете лампы: смотрел, как она смотрит, как он смотрит на нее, смотрел в собственные восхищенные глаза, впитывая новое и такое древнее наслаждение от того, что удовлетворяешь желание другого быть увиденным. Теперь он видел, как различны они с ней – насколько вообще человеческие существа могут отличаться друг от друга: он по меньшей мере на фут выше и почти вдвое шире, лицо его – полная противоположность ее лицу (он прежде и не обращал внимания, какая вытянутая и узкая у него физиономия, столь контрастирующая с плоской округлостью ее лица). Различия возбуждали и пугали, он чувствовал, как кровь приливает к одним местам, одновременно отливая от других, он хотел быть с ней, смотреть на нее и чтобы она смотрела только на него.

На миг она потупила глаза и осторожно потянула пояс своего саронга. Одевание упало вместе с кружевной нижней юбкой, и он увидел (белья на ней не было!) белую плавность ее ягодиц и пышных бедер, а в зеркале – густой пучок темных волос. Она торопливо вскинула руки и сбросила черную расшитую блузу, и его глазам предстала складочка на талии, неожиданно тяжелые груди с темными окружками. Теперь ее глаза смотрели на него в упор почти бесстрастно, как будто сообщали, что она на знакомой территории и отныне она диктует условия. *Неужели правда?* Господи! Куда подевалась нервно хихикающая девчонка, с которой он встретился в доме судьи в Акьябе! Она... дар, не имеющий себе равных, и он был уверен, что этот дар вот-вот отберут, что она придет в себя и укроется под защитой своего саронга.

Смущенная улыбка робко осветила ее лицо, она все смотрела на него, сочувствие и симпатия тенью мелькнули в ее глазах. Внезапно она показалась такой уязвимой, напуганной, будто вот-вот расплачется, точно происходящее все же в новинку для нее и она растерялась, не зная, что делать дальше.

Он решительно шагнул к ней, и опустил перед ней на колени, и повернул к себе, и прижался к теплему влажному лону, глядя вверх, за нависающие над ним груди, прямо в ее напуганные, ожидающие глаза.

– Ты счастлива? – спросил он.

Она ответила взглядом.

Довольно того, что мы вместе.

Ему было двадцать, ей восемнадцать. И они нашли друг в друге временное спасение от всепоглощающего одиночества.

И все же обретенная близость не была идеальной. Кхин, как он выяснил, почти свободно говорила по-бирмански – на языке бирманцев (совершенно не похожем на язык каренов, как он узнал, но, видимо, из той же тоновой группы). Вскоре Бенни обнаружил, что если приложить немного усилий для возвращения в себе ростков бирманского, которые зачахли со времен его рангунского отрочества, ветви синтаксиса дадут побеги в его разуме. Но язык этот никогда не был для него родным, каким он был для нее (даже когда он свободно говорил на том забытом детском бирманском, его *родными* языками были английский и иврит). Тем не менее он трогательно старался составить карту неизведанных территорий ее мыслей, используя бирманский в качестве инструмента, но даже самые счастливые их вербальные взаимодействия отдавали драматизмом.

– Я был... продвинут! – заикаясь, лепетал он, пытаясь сообщить ей о своем повышении до должности старшего офицера Таможенной службы.

– Очень хорошо! Очень... счастливый! – слышал он в ответ.

– Мы... у нас ребенок, – несколько недель спустя, когда измотанный вернулся из порта, а она кинулась к нему, радостно и застенчиво, и он понял, что она хочет сказать.

Она распустила волосы, а лицо припудрила, подвела брови и надела маленькие сапфировые сережки, его свадебный подарок.

– Мы... ребенок.

По-бирмански. Как будто то, что она вообще сообщила ему о беременности, о ребенке, уже неприлично.

– Очень хорошо. Очень счастливый, – почему-то спопугайничал он.

Он хотел сказать ей *обо всем*. А вместо этого продолжал твердить «Очень хорошо. Очень счастливый», крепко обнимая ее прямо в дверях, а она смеялась и плакала.

– Тебе нравится? – так он понял ее вопрос однажды за ужином, когда, вытирая глаза и нос, с удовольствием ел обжигающий острый суп, который она называла «*та ка пау*» – рис, мясо, овощи и побеги бамбука.

– Вкусно! – прогудел он.

Вкусно. Ну в точности бирманский ребенок, сражающийся с непривычностью кухни каренов, в которой ему очень нравилось малое количество масла и акцент на свежих овощах, горьких и кислых вкусах (не говоря уже о чили!), а он хотел бы восхвалять ее в длинных цветистых фразах. Вкусно. Как же он ненавидел в такие моменты себя, жрущего молча и с дурацкой улыбкой. Словно компенсируя недостаток слов и похвал, она придвинула маленький горшочек с ферментированным рыбным соусом (который она называла *нья у*, а он неуклюже продолжал называть *нгапе*, как называлась такая же – хотя и значительно менее соленая – бирманская приправа). Вместо того чтобы положить себе острой приправы, он взял Кхин за руку, почувствовав себя вдруг ужасно одиноко и тревожась, что задел ее чувства. *Мы справимся с этим*, должен был сообщить его твердый добрый взгляд.

Но так ли это? Их бестолковые беседы оставляли во рту привкус разочарования. Нет, он не был разочарован *ей*. Его все еще завораживала ее таинственная красота, а его восхищение ее талантом в обустройстве их нового дома росло с каждой неделей. На то жалованье, что он отдавал ей, она купила еще немного красивой мебели, окончательно обставив квартиру, заполнила одеждой их гардеробы и даже умудрилась нанять соседку для помощи в уборке. Она великолепно готовила и шила и была поистине одаренной сиделкой (однажды, когда он вернулся с дежурства в отвратительном состоянии, отравившись тухлой рыбой, она провела всю ночь рядом с ним, смачивая губы, вынося горшок и не реагируя на его попытки отослать ее, потому что ему было стыдно). Словом, она оказалась куда более умелой и разумной, чем он ожидал. Но, глядя в ее ласково-проницательные глаза, он частенько чувствовал, что существует пространство, куда ему никогда не будет доступа, потому что она каренка, а он никогда не сможет стать кареном.

Его начали тревожить тайны, которые она хранила, – например, что произошло с ее отцом, попавшим в лапы к бирманским дакойтам, и почему мать и сестра смотрели на нее с таким упреком. Или был ли у нее сексуальный опыт до того, как они впервые легли как муж и жена? Ее самозабвенная страсть каждую ночь, так резко контрастировавшая с ее застенчивой безмятежностью днем, одновременно питала и смущала спокойствие его духа. Вдали от нее, на дежурстве, он живо представлял ее обнаженной и ублажающей какого-нибудь бывшего любовника из каренов. И в то же время он все тоньше осознавал различия между своими подчиненными бирманцами и каренами: первые легко приходили в ярость, если к ним относились свысока, в то время как вторые предпочитали затаиться – даже если к ним относились с гораздо большим пренебрежением, чем к первым.

Бенни никогда прежде не рассматривал ни мир, ни свою жизнь сквозь призму расовых различий – возможно, это было его привилегией как «белого» (хотя и с оливковым оттенком) гражданина Британской Индии. Он не вспомнил о расовом вопросе, когда внезапно решил жениться на Кхин, – единственное, что его смущало, так это непонимание, насколько карены отличаются от прочих народностей Бирмы. Если уж быть до конца честным с собой, он осознал, что с самого начала не признавал существования расовой проблемы. Национальная идентичность его еврейских тетюшек отдавала самодовольством, чувством превосходства – не меньше, чем претензии Даксворта на английскость его происхождения отдавали ненавистью к себе. Но сейчас Бенни чувствовал себя загнанным в угол расовыми проблемами. Это специфическая черта *каренов* – задумчивое спокойствие Кхин, которое иногда кажется ему заторможенностью? Ее *научили* никогда не навязываться, не смотреть в глаза, складывать руки на груди во время беседы, опускать голову, проходя на улице мимо людей другой нации? Он не был полностью уверен, что ее вечные отказы на его предложения купить ей какой-нибудь пустяк (кофе, безделушку у лоточника) не есть на самом деле форма скромного *согласия*, принятая у каренов. Точно так же он не был уверен, что огорченные взгляды, которые она бросала на него, если он просил о чем-то напрямую (скажем, чтобы она клала чуть меньше чили в его обеденное карри), не были по сути упреком. Она явно сдерживалась, чтобы не делать замечаний, когда он вел себя, по ее мнению, неприлично (слишком громко топал, например, или хлопал дверью). А когда он пару раз все же сорвался (в основном, потому что был сыт по горло необходимостью вечно угадывать ее мысли), она как будто готова была немедленно уйти.

Но со всей очевидностью, однозначностью было ясно, что она прилагает невероятные усилия, чтобы ненароком *не обидеть*, и ожидала от него, своего мужа, того же. И не начни он понимать, что значит быть объектом обиды, он наверняка попытался бы изменить ее.

– Оставь их, *прошу*, – взмолилась она однажды, когда они вместе прогуливались по Стрэнду и кучка малявок принялась выкрикивать гадости о ее «уродливой каренской» одежде (из-за внезапной жары она надела привычную ей тунику вместо приталенной бирманской блузы на пуговицах, которые полюбила после переезда в город).

Игнорируя ее мольбу, Бенни подскочил к соплякам, ухватил одного за рукав и спросил по-английски, полагая тем самым поставить парня на место:

– Ты *соображаешь*, что делаешь?

Но, разумеется, один только Бенни и был потрясен тем, как относятся к его жене.

Меж тем шел 1940 год, Кхин расцветала в беременности, а ощущение, что он ничего не знает о жене и ее народе, кажется, стало для Бенни частью общебирманских проблем. В связи с арестом Аун Сана за попытку заговора с целью свержения правительства бирманские элиты и широкие массы, возглавляемые этим *de facto* вождем, пытались использовать разразившуюся войну для достижения своих целей – посредством демонстраций, беспорядков и забастовок. Так что проблемы Бенни и Кхин, похоже, следовало рассматривать в масштабе проблем мировых – захвата Японией китайского Нанкина, нападения Советов на Финляндию, потопления британского эсминца немецкой подлодкой. Кхин, правда, чувствовала себя вполне уверенно

в коконе семейных отношений и привычной роли меньшинства – точно так же, как британцы не испытывали сомнений, веселясь в рангунских клубах, убежденные, что их оплот Сингапур – «самый важный стратегический пункт Британской империи» – в безопасности, а у японцев из вооружений только флот из лодок-сампанов и самолетиков из рисовой бумаги. Но Бенни был напуган, напуган стольким, что и сосчитать не мог. И, даже не признаваясь самому себе, он начал готовиться к бою.

В нашей аннексии Верхней Бирмы было так много плачевного, недопустимого, прискорбного и достойного сожаления, что любые положительные примеры должны получить полное признание. И одно из самых выдающихся явлений – это исключительная лояльность Британской Короне маленького народа каренов. Эта народность здесь практически неизвестна, их часто неверно понимают и представляют в ложном свете даже в Индии; но они обладают столь специфическими особенностями и порождают столько разнообразных толков, что мы решили изложить ряд фактов о них нашим заинтересованным читателям...

Это Чарльз Диккенс, в декабре 1868-го, в эссе, которое Бенни едва не позабыл прочитать. Об этом произведении он впервые услышал за несколько месяцев до встречи с Кхин, когда его начальник – инспектор на Рангунской товарной пристани, британец, недавно прибывший в эту страну, – однажды за чаем мимоходом упомянул, что именно великий писатель впервые познакомил его с народом каренов (или с «маленьким народом», как он называл их).

– Он написал восхитительное эссе о каренах, – сказал он Бенни. – Не могу, впрочем, припомнить названия... что-то в серии альманахов «Круглый год», кажется.

И теперь Бенни перерыл больше полусотни заплесневелых томов, основная часть которых так и простояла забытыми на полках библиотеки Офицерского клуба, прежде чем раскрыл оглавление тома XLIII и под жутковатой строчкой «ЕВРЕИ, РЕЗНЯ В ЙОРКЕ» обнаружил то, что искал: «КОЕ-ЧТО О КАРЕНАХ».

Бывают времена, когда распадается само время, когда наша самодовольная уверенность в реальности времени оказывается лишь дурной шуткой. И для Бенни наступил ровно такой момент. Как будто сам Диккенс оказался рядом с ним в этой затхлой комнате, потянул за рукав и подвел к потертому кожаному креслу, в котором призраки предшественников Бенни размышляли над своими записями; как будто сам Диккенс подтолкнул его, усаживая, и заставил листать страницу за страницей, тыча пальцем в Бенни и громогласно укоряя со всей обидой непризнанного пророка: «Смотри, что я узнал! Больше полувека прошло, а вы все еще живете в неведении! Господи, парень, да сделай же что-нибудь!»

Статья оказалась гораздо более толковой, чем предполагало скромное название, и охватывала множество аспектов, от самого названия «карен» (более широкого, если Диккенс был прав, и относящегося к нескольким племенам с общими лингвистическими и этническими особенностями) до географии (карены времен Диккенса расселялись от холмов Тенассерим¹⁰, граничащих с Сиамом, на запад до дельты реки Иравади) и проблемы происхождения каренов (основываясь на публикациях нескольких своих современников, Диккенс придерживался теории, что карены изначально жили на границах Тибета, затем перешли пустыню Гоби и оказались в Китае, а затем двинулись на юг, хотя «почему они мигрировали», рассуждал он, «и когда впервые появились в Бирме, остается загадкой»). Но что больше всего взволновало Бенни, так это размышления писателя о вере каренов, чьи традиции он описывал как имеющие «однозначно иудейский оттенок» с «понятиями Творца, Падения, Проклятия и рассеяния людей... пугающие своим сходством с Моисеевыми скрижалями».

¹⁰ Тенассерим (Танинтайи) – административная область на юге Мьянмы, между Таиландом и Андаманским морем.

Итак, мы подошли к самой примечательной традиции, передаваемой каждым племенем каренов абсолютно одинаково и позволяющей нам понять, почему американские миссионеры имели среди них такой успех, объясняющей преданность каренов Британскому Содружеству. После Падения, говорят они, Бог даровал свое «Слово» (Библию) сначала народу каренов, как старшей ветви человеческой расы; но они отвергли его, и тогда Бог в гневе отобрал свой дар и передал младшему брату, белому человеку, с которого взял обещание вернуть его каренам и научить правильной вере после того, как их грехи будут искуплены долгим гнетом со стороны других рас.

Гнет. Это слово было одним из полюсов той оси, вокруг которой вращалась теория Диккенса, а другим полюсом была «лояльность»: «Их лояльность Британской Короне не подлежит сомнению» и «Их лояльность и стойкость их убеждений являют собой разительный контраст разбою и вероломству бирманцев». Возможно ли, что гнет и лояльность, задумался Бенни, являются теми взаимодополняющими силами, которые по сей день держат каренов в своеобразном лимбе – между откровенным истреблением и целенаправленным продвижением в разного рода областях? Даже во времена Диккенса карены «осуществляли службу связи» для британского правительства, которое приняло их лояльность с «поистине хамской признательностью» – так, что они «совершенно неизвестны» в Англии. Карены – хронически угнетаемые лоялисты, непрерывно вращающиеся в вакууме безразличного мира.

Мартовским утром несколько недель спустя инспектор товарного причала познакомил Бенни с новым коллегой и тоже офицером по имени Со Лей – «Со», как теперь знал Бенни, для каренов означает примерно то же, что «мистер».

– Вплоть до недавнего времени этот парень был национальным футбольным героем, – восторженно сообщил инспектор.

Неплохо, подумал Бенни, что инспектор нанял карена, чтобы заменить недавно переведенного на другую должность индийца, но вместе с тем любопытно, что карен смог подняться до общенационального признания в качестве спортсмена. Возможно, именно благодаря британскому господству над бирманцами подобные продвижения оказались в порядке вещей.

Со Лей был серьезным молодым человеком, столь же высоким, как и Бенни, хотя стройнее, жилистее, и, в отличие от Бенни, старался не смотреть людям в глаза. Он безупречно говорил по-английски и был убийственно безразличен к своей известности – «это только футбол», говорил он; если бы не ловкость, с которой парень взлетал по сходням, Бенни усомнился бы в его спортивных доблестях, настолько неприметно перемещался по причалу Со Лей. Но вместе с тем он не был инертным и вялым. Каждый из его редких взглядов, каждое взвешенное слово пылали силой и яркой мыслью – и яростью. Устойчивой яростью, понимал Бенни, – в отличие от его собственной вспыльчивости.

Новый офицер квартировал по другую сторону Королевского парка, который упирался в пагоду Суле и здание муниципалитета на Фитч-сквер, и частенько после работы они прогуливались в садах, ища укрытия от жары под кронами цветущих деревьев; Бенни задавал вопросы и замолкал, когда Со Лей начинал отвечать.

– Ты должен понять, – объяснял Со Лей, когда они с Бенни апрельским вечером шли со службы. – Лоялистские узы, которые нас связывают с британцами... они образовались ради нашей взаимной безопасности. Завоевание страны далось британцам нелегко. Потребовало немало времени, произошло несколько войн. Мы радовались англичанам, потому что нас веками притесняли бирманцы, мы были их рабами. На наши деревни постоянно нападали, наш народ непрерывно грабили, отбирая все, от одежды до самой жизни... Вот почему мы так панически боимся всего. Наша застенчивость, наша сдержанность, наше стремление избегать

конфликтов, привычка постоянно быть настороже – это все уходит корнями в долгую историю угнетения. А британцы, что ж, они воспользовались ситуацией. К тому же мы населяли стратегически важную для них территорию. Им было выгодно поладить с нами, как они сами говорят. Ну, нам это тоже было на руку. Мы не стеснялись называть миссионеров, которые принесли веру многим из нас, «Матерью», точно так же, как не смущаясь называем правительство его величества «Отцом». А почему бы и нет? Подобно доброму отцу, британское правительство спасло нас, освободило от долгого состояния рабства и подчиненности.

Они остановились, сели на скамейку под тенистым деревом, Со Лей помолчал несколько секунд, словно погружаясь в дальние уголки своего разума. Вздохнув, взглянул на величественный белоснежный фасад правительственного здания.

– Поэтому так много каренов служит в армии и полиции? – отважился спросить Бенни. Не так давно он с удивлением узнал, что из четырех батальонов бирманских стрелков – регионального подразделения британской армии – два состоят исключительно из каренов.

Печальная тень скользнула во взгляде Со Лея, он поднял голову, взглянул на белые облака, кипевшие над городом.

– Без нас, сражавшихся на их стороне, британцы не смогли бы победить в войне с бирманцами, не смогли бы захватывать один кусок страны за другим. – Он посмотрел прямо в глаза Бенни, редчайший момент. – Бирманцы восставали, бунтовали – иногда самым гнусным образом, сбиваясь в кучки дакойтов, вооруженных бандитов. И британцы, не колеблясь, привлекали нас в полицию и армию, чтобы подавлять эти выступления... Будь ты бирманцем, неужели ты не ненавидел бы каренов так же страстно, как ненавидел британцев?

Бенни не ответил сразу, а молчание, в которое вновь погрузился Со Лей, заставило и его молчать дальше – было ощущение, что одним-единственным словом можно разрушить работу мысли, что происходила в голове его нового друга.

– Проблема, – продолжил Со Лей с осторожностью человека, отмечающего вешками свой путь, – проблема заключается в том, что британцы более склонны обращаться к бирманцам, когда дело касается вопросов администрации, – несомненно, в силу того, что бирманцы веками правили этой страной... Ты можешь подумать, что, зная стремление бирманцев к угнетению других, наш Отец ограничит их власть. Но в этом отношении наш Отец всегда вел себя очень странно. Даже когда мы верно служили, воевали на стороне британцев, нам приходилось подчиняться бирманскому начальству. У нас был бирманский премьер-министр, бирманское правительство, законодательное собрание, подчиняющееся бирманским националистическим партиям... А сейчас, в результате всех этих забастовок, мятежей, наш Отец предоставляет им все больше и больше самоуправления. Понимаешь, почему мы, карены, так обеспокоены, так напуганы?.. Неужели наш Отец забыл о наших нуждах, о нашей лояльности? Он, разумеется, должен гарантировать защиту нашего права на самоопределение, на создание отдельной административной территории, а то и государства, которое мы могли бы назвать своей родиной, гарантировать нам представительство на национальном уровне.

Со Лей смотрел в глаза Бенни, его одухотворенное, в капельках пота лицо выражало испуг – внезапной откровенностью.

– Если наш Отец отвергнет нас, Бенни, все – *все вообще* – пойдет прахом. Неужели ты не понимаешь?

4

Обремененные выбором

Всякий раз, когда они занимались любовью, руки Бенни скользили по ее коже с такой осторожностью, словно он никак не мог поверить, что все это – ее тело, их близость – реально. А порой Кхин сама себе казалась призраком. Иногда, даже в такие моменты, она словно растворялась... Надо бы ушить в талии брюки Бенни, могла напомнить она себе. Наверное, еда, которую она готовит для него, недостаточно питательна. Или: почему он кричал на нее после ужина, а потом отрицал это? Неужели он настолько глух, что не слышит разницы между раздраженным и нежным тоном? Но ощущение отстраненности могло исчезнуть мгновенно, стоило взглянуть на руки Бенни – какие они красивые – и осознать, как она счастлива, что они обнимают ее. Потом она возвращалась в свое тело, в происходящее сейчас, в счастливое настоящее, где она вместе с этим мужчиной, который был столь же одинок, пока они не встретились.

Но потом понимание невероятной случайности этого счастья настигало ее с сокрушительной силой. С чего вдруг они очутились вместе в этой постели! С чего вдруг их ребенок, растущий сейчас в ее утробе, обрел плоть! А если бы они с Бенни не оказались в Акьябе – если бы ее деревенский сосед не оказался кузеном судьи – если бы мать не захотела разлучить ее с единственным парнем-кареном, который был ей небезразличен – если бы мама не застала ее болтающей с этим юношей на берегу реки... а ведь они только разговаривали, только поделили рисовую конфетку... Даже когда Бенни в их супружеской постели упорно возвращал ее в ощущения тела, разум ускользал к цепи случайных событий: если бы папа не стал алкоголиком – если бы он не потерял семейный сад – если бы они не переехали в съемную лачугу – если бы дакойты не ворвались в их лачугу – если бы сестру не изнасиловали – если бы маме не раздробили руки – если бы папе не вспороли живот так, что кишки вывалились на пол... Если бы папа не был пьян, смог бы он отбиться от дакойтов? Если бы она смогла спасти его, а не просто заталкивала его кишки обратно и пыталась удержать, пока он хрипел, может, мама не презирала и не отвергла бы ее? Если ее изнасиловали бы, как сестру? Или убили, как папу? «Целая и невредимая, – говорила про нее мама. – Единственная, кто остался целой и невредимой».

Бенни был прав, напоминая себе о ее мире, когда они занимались любовью. Словно издавна Кхин наблюдала, как он, будто их нерожденный ребенок, настойчиво стучится к ней; и сама она принимает его плоть в истерическом желании не только забыться, но и защитить их случайно обретенную страсть от неведомой угрозы, стоящей за дверью.

Она была на седьмом месяце беременности, когда Бенни пригласил Со Лея. И все время, пока тот был в гостях, Кхин затаив дыхание слушала, в переводе Со Лея, как Бенни раскрывал свое прошлое – рассказ про смерть родителей, годы в Калькутте, почти обращение, боль, когда его выгнали с кладбища рангунской синагоги, куда он пришел скорбеть о своих умерших.

– Представьте, что меня признали бы, приняли, – страстно говорил он, разгоряченный алкоголем. – Представьте, что все пошло бы совсем иначе – такое возвращение блудного сына. Мог бы жениться на миленькой евреечке. Мог никогда не получить эту временную должность в Акьябе. Мог никогда не встретить мою девочку, девочку с прекрасными волосами.

Как легко он говорил об их случайной любви, как будто не было нужды объяснять или оправдывать ее; меж тем как Со Лей весь вечер украдкой бросал на них странные взгляды, возможно, потому, что не одобрял их союз, из-за которого она покинула свою деревню и порвала со своим народом.

– Ты скупаешь по иудаизму? – спросила Кхин Бенни через Со Лея.

Она встала, чтобы подлить гостю кофе, и при свете свечей заметила, как Со Лей отодвинулся от ее выпирающего живота (потому что ему отвратительно напоминание о ее общем с Бенни потомстве? Или просто боялся, что она прольет горячий кофе ему на колени?).

– Думаю, мне не хватает общины, чувства причастности, – ответил Бенни, страдальчески скривив губы. – Но уверен, так бывает с любым счастливым детством. И уверен, тут у нас много общего, моя дорогая.

Он потянулся через стол, взял ее за свободную руку, будто ободряя, но пальцы его словно обессилели от ощущения одиночества, которое накрыло его.

Через две недели Кхин явилась в порт с ланчем для Бенни ровно в тот час, когда, как она знала, он почти наверняка будет занят. Кхин нашла мужа и Со Лея в конторе и, как бы между делом, бросила последнему по-каренски, что будет ждать его в кофейне на Стрэнде, чтобы поговорить наедине. Со Лей испуганно взглянул на нее, но спустя сорок минут появился у стойки кофейни и заказал крепкий кофе с концентрированным молоком.

Когда она объяснила, чего от него хочет, Со Лей сначала смущенно заморгал, а потом расхохотался в голос – от облегчения или от возмущения ее просьбой, Кхин так и не поняла.

– Я хочу оказать уважение своему мужу, – тихо проговорила она.

– Тогда почему не обсудить *напрямую* с ним? – возразил он, его веселое настроение уже рассеялось. – Бенни мой друг, и сколько бы ты ни думала, что оказываешь ему услугу, возвращая его родному народу, я почти уверен, что он воспримет это как вопиющее злоупотребление доверием!

Но все же Со Лей сделал то, о чем она просила: договорился о встрече с раввином рангунской синагоги, тайно сообщил ей о дне и времени встречи и в назначенный час появился на 26-й улице.

В светлом здании с колоннами, в кабинете, полном книг и бумаг, они сели за стол напротив сторбленного раввина, чей взгляд поначалу излучал исключительно скептицизм. Со Лей, не глядя на нее, с идеальной ясностью и прямоотой принялся излагать по-английски суть дела: ей кажется, что ее мужу пошло бы на пользу воссоединение с его народом, община – это то, чего им сейчас так недостает, осиротевшему Бенни, им обоим, таким одиноким здесь, в Рангуне.

– Вы же говорите не про внука Иосифа Элии Кодера? – внезапно выпалил раввин. При первом упоминании полного имени Бенни глаза раввина подернулись дымкой мрачного недоумения, но теперь его густые брови изумленно приподнялись, а сам он сильно побледнел.

– Да, он... его, – подтвердила Кхин на английском, который раввин определенно понимал с трудом.

Она разобрала имя «Кодер», которое Бенни все время повторял, когда перечислял своих родных в тот вечер беседы с Со Леем, – он бросал имена, словно забрасывал удочку в море своего прошлого, пытаясь выудить частицы самого себя, уплывшие безвозвратно.

Внезапно раввин принялся рыться в куче бумаг на столе, с жаром что-то объясняя.

– Он говорит, – переводил Со Лей, – что он полагал – они все полагали, – что Бенни для них потерян... Он говорит, у него где-то тут есть письмо... от тетушки Бенни. Письмо для Бенни.

Явно не найдя того, что искал, раввин принялся выдвигать ящики стола.

– Он говорит, что еще она написала ему напрямую, с просьбой, – продолжал Со Лей. – Точнее, *обязывая* его взять на себя ответственность по розыску ее племянника, потерянного для иудеев.

Раввин издал звук, похожий на громкий лай, и победно протянул тонкий конверт, в блеклых глазах его мелькнула искра. Но улыбка погасла, когда он перевел взгляд на лицо Кхин, словно бы одна проблема разрешилась, но вместо нее всплыла другая, еще более серьезная, – и

этой проблемой была *она* сама: живое воплощение того, что Бенни навеки потерял для иудеев. Разве сумеет она справиться с такой проблемой?

Поникший раввин, казалось, в один момент передумал расставаться с письмом, которое с таким трудом отыскал. Он положил его перед собой и ритмично постукивал по нему морщинистым указательным пальцем в такт своим словам, на этот раз тоскливо сетуя, насколько она поняла, постанывая и качая головой.

– Он говорит, что не так просто стать членом общины, – перевел Со Лей, встревоженно поворачиваясь к ней, и новое огорчение захлестнуло его лицо. – Для начала, существуют препятствия, связанные с вашим семейным положением, с браком, заключенным, вероятно, в церкви... У них тут традиционная община, и они строго соблюдают множество древних законов... Например, все должны жить в этом районе. (Раввин размахивал руками, теперь письмо было зажато у него в кулаке.) И они обязаны неукоснительно повиноваться иудейским старейшинам... должны много всего изучать, изучать их священные книги, соблюдать кашрут... Бенни наверняка не соблюдает кашрут, там нужна отдельная посуда для молочного и мясного... И их женщины – он говорит, они обязаны носить менее открытую одежду, чем наши саронги или облегающие бирманские блузки.

Раввин, прищурившись, посмотрел на нее, а Со Лей продолжал:

– Но гораздо более серьезная проблема – неразрешимая проблема – состоит в том, что ты не еврейка, Кхин. И он говорит, ты не можешь просто так взять и *стать* еврейкой. Судя по всему, ты должна была родиться еврейкой, то есть должна быть рождена матерью-еврейкой. Как видишь, ребенок Бенни не будет евреем. Если только и ты, и ребенок не обратитесь в иудаизм – от чего он, как того требует его священная книга, всячески пытается тебя отговорить. Но ты же вроде не рассматривала вариант обращения.

Разумеется, Кхин знала, что означает слово «обращение», – оно тут же вызвало в воображении образ односельчан, забравшихся в ледяную речку, чтобы креститься, напомнило о неискренности ее собственной веры. Фальшь заключалась не в примитивном сомнении в существовании высшей силы, которое проснулось в ней после истории с дакойтами, это было бы уж совсем жалкой формой сомнений, поскольку вера, как она ее ощущала, произрастала из трудностей. Кхин скорее казалось, что крещение было отчаянной попыткой утопить сомнение в спасительных водах веры, отчаянной попыткой смыть эпохи страданий обетованием спасения. К удовлетворенному разочарованию матери и сестры, она много раз отвергала попытки деревенского священника заманить ее на берег реки для перерождения – но сейчас, перед лицом этого раввина, который взирал с таким убийственным участием на нее (и на проблему заблудшего Бенни), Кхин немедленно и страстно возжелала быть спасенной.

– А что, так трудно принять иудаизм? – спросила она.

Раввин повернулся к Со Лею, нетерпеливо дожидаясь перевода, но тот уставился на Кхин с тревогой и укоризной.

– Дело же не в том, чтобы войти в реку и принять веру еврейских старейшин, – прошептал он, словно читая ее мысли. – Не думаю, что ты вообще представляешь, что значит быть евреем.

– Это значит не верить, что Христос – мессия, – нашла она с ответом.

Слова возникли откуда-то из глубины, будто внутри нее таился нетронутый кладезь, и ей пришлось сглотнуть, чтобы не разрыдаться. Нет, это не значит, что она не верила, что Христос мессия, просто она не верила, что кто-то способен *знать* это наверняка, – то есть, по большому счету, она не верила в безусловную убежденность. Вера без убежденности – вот чего она хотела, вот что показалось внезапно и необъяснимо возможным в этом странном мире предков ее мужа.

Идиотизм! – блеснули в ответ глаза Со Лея, прежде чем он отвел взгляд и уставился в маленькое окно, выходящее на пустынное кладбище.

– Став частью этого... этого... – произнес он, жестом обводя кабинет изумленного раввина и пространство вокруг. – Ты должна будешь сбросить собственную кожу, отшвырнуть свое прошлое, забыть все, во что тебя учили верить, – все обычаи, наставления стариков, миры духов, христианские притчи!

На миг воцарилась тишина. Потом раввин спрятал лицо в ладонях, забормотал. Он то ли молился, то ли призывал высшую мудрость. Когда же в конце концов поднял глаза и заговорил, в его словах звучали вновь обретенные скорбь и смирение. И словно успокоенный его словами или успокаивая себя, чтобы правильно их перевести, Со Лей глубоко вздохнул.

– В иудейской вере, – проговорил он наконец, – не нужно становиться евреем, чтобы обрести место в грядущем мире.

Нет, этот раввин разговаривал с нею не так, как бирманцы; бирманцы, общаясь с кареннами, всегда занимали позицию превосходства – интеллектуального, духовного, расового. Нет, этот раввин не снисходил до нее, но просто относился к ней как к чему-то чужеродному. Он сражался за то, чтобы сохранить прошлое своего народа в стране, непрерывно уничтожавшей ее народ. И Кхин поняла, что сколько бы ни мечтала обрести место, где они с Бенни смогут пустить корни, она никогда *не станет* заблудшей каренкой. Не странствовать ей по пустыне, лишенной дома, никому не нужной – кроме своего народа. И такому же безродному Бенни.

Ей внезапно отчаянно захотелось к мужу, она резко отодвинула стул и встала.

– Пожалуйста, поблагодари раввина за потраченное время, – попросила она Со Лея. – Спасибо, – сказала раввину по-английски.

Оба мужчины медлили. Потом старик улыбнулся ей, его глаза просветлели. Он подвинул к ней лежавшее на столе письмо, произнеся слова, прозвучавшие – несмотря на его хриплый голос – для нее почти нежно.

– Один из заветов человеку – стремиться жить в радости, – перевел Со Лей. – Перед лицом страшных войн, идущих вокруг, когда и нашему миру угрожает опасность, мы должны найти способ радоваться, в любых обстоятельствах. Мы не должны просто выживать.

Через несколько недель, в сентябре 1940-го, она собралась с духом и рассказала Бенни о своей тайной встрече. Бенни вовсе не взбеленился, напротив, растрогался и обнял ее, едва взглянув на письмо от тетушки, которое Кхин ему протянула. Они должны пригласить в гости Со Лея, чтобы откровенно все обсудить, сказал он ей на уже вполне уверенном бирманском. И еще следует подождать с распечатыванием письма, пока Со Лей к ним не присоединится.

Кхин никогда не забудет вечер, когда они наконец открыли конверт – за несколько дней до рождения ребенка. Они до отвала наелись сытной бирманской едой, которую она начала готовить, чтобы подкормить Бенни, – суп с лапшой и свиной на кокосовом молоке, жареная тыква, мясное карри в кунжутном масле; следом десерт, сигареты и щедрая порция скотча для мужчин. Когда они перешли в гостиную, Бенни сыто рыгнул и на английском, который она по-прежнему едва понимала, сказал:

– Похоже, время пришло, а?

Он тяжело опустился на тростниковый диван, взял с кофейного столика новые очки, пристроил на кончик носа, а Кхин принесла письмо и маленький ножик. Они с Со Леем сели напротив, и она заметила, как изменился Бенни. Ему всего двадцать с небольшим, но волосы уже седеют, торс – несмотря на все ее усилия подкормить мужа – теряет мускулистость. Бенни нервно распечатал конверт, отложил нож на кофейный столик и извлек из конверта единственный листок.

– Посмотрим, посмотрим... – бормотал он, разворачивая листок и откидываясь на спинку дивана. И начал читать, слегка прищурившись.

– Ну? – не вытерпел Со Лей.

– Бенни? – встревожилась Кхин.

Он посмотрел на нее, опустил руку с письмом, снял очки.

– Сделаешь мне одолжение, дорогая? – обратился он к ней по-бирмански. – Сожги его в печке, ради меня.

Он чуть дрожащей рукой приподнял письмо, взглядом попросив ее забрать и избавиться от него поскорее. И когда она с грустью выполнила просьбу, он схватил ее за руку, улыбнулся, глядя в глаза, и сказал то, что Со Лей позже пересказал ей на каренском:

– Нельзя совершать ошибку, судя об отношениях с человеком по тому, как эти отношения закончились. Нет, следует смотреть на картину в целом. Когда я думаю о женщине, которая написала это письмо, о моей тетушке Луизе, я думаю о своем детстве. О той доброте, которой она окружила меня после смерти мамы и папы... Она была по-своему воином, тетушка Луиза, – ты знаешь, что означает ее имя? «Великий воин»... И вот она уж точно была бойцом! Наверное, если бы это считалось пристойным, она мутузила бы меня за каждую драку в школьном дворе... Если у нас родится девочка, мы назовем ее в честь тетушки. Луизой. Великим воином.

И маленькая Луиза оказалась тем еще воином. Кхин родила ее – дома, с помощью акушерки – в полной тишине, и раздавшиеся безудержные вопли Луизы прозвучали протестом против стоического терпения Кхин. У девочки были густые волосы Бенни, и крепкие сердитые кулачки Бенни, и жадная, как у Бенни, потребность в теле Кхин – груди Кхин. И в какую же ярость впадала Луиза, когда пищеварение вызывало у нее дискомфорт! Как пронзительно она визжала! И как горьки были слезы Кхин, которой малейшие страдания ее ребенка казались страшнее всех мучений мира со дня творения. Луиза гневно вопила, если, проснувшись, моментально не обнаруживала Кхин в поле зрения. Билась в истерике, если Кхин не сразу подскакивала к ней. Недовольно выпячивала нижнюю губу – уже двух недель от роду! – если приближался кто-нибудь, кроме матери или отца, как будто отчетливо осознавала свою уязвимость и проверяла, как держит оборону ее персональная гвардия.

В два месяца Луиза начала, очень трогательно, пытаться общаться, издавая серии жалобных, напевных, округлых звуков, которые явно должны были поведать о невыносимом страдании. Какие кошмары из прошлых воплощений ее терзают? – недоумевала Кхин. Неужели ее смерть разрушила чьи-то жизни? Кхин надеялась, что ребенок станет целительным бальзамом для ее духа, зараженным смертным тлением, – но это дитя! В прошлой жизни малышка, похоже, была генералом, который погубил своих воинов, бабушкой, у которой вырезали всех до единого внуков. А единственным спасением от ее врожденных мучений определенно был Бенни. Разумеется, грудь Кхин утешала девочку (по крайней мере, пока не начались колики), как и руки Кхин, как и ее песни о страданиях их народа. Но только Бенни мог облегчить бремя, с которым она приковывалась в этот мир. Он умел так – и за это Кхин влюбилась в него еще сильнее – подойти к малышке, полузаинтересованно, полуютстраненно, воркуя и лепеча английские ласковые словечки («голубка моя!», «ангелочек мой золотенький!», «папочкино маленькое сокровище!»), что, вот удивительно, Луиза уже радостно гукала в ответ и даже улыбалась, как обычный ребенок. «Па-па!» – сказала она ему в три месяца. «Хочу па-па!» – произнесла в семнадцать недель.

– Это нормально, что ребенок так рано заговорил? – гордо спросил Бенни у Кхин.

– Странно, – с упреком прокомментировала детское лопотание мать Кхин в свой единственный визит к ним.

Спасаясь от жары, которая усиливалась по мере того, как росли ораторские успехи Луизы, Кхин часто гуляла с дочерью по шумной Спаркс-стрит – уличные торговцы едой и лоточники, вслух читавшие Коран, завораживали младенца – до самого Стрэнда, куда доносился легкий речной ветерок. Река повергала ребенка в созерцательное настроение. «Хочу другую лодку», – уже скоро говорила она, крохотным пухлым указательным пальчиком тыча в корабли, стоящие в бухте. *Хочу другую лодку*, на каренском для Кхин и по-английски для

папы, когда у них с Со Леем находилась минутка присоединиться к ним на пристани. Бенни снимал шляпу перед Луизой, торжественно заявляя, что он сделает все, что в его силах, дабы удовлетворить ее желание.

– Правда же, она самая умненькая девочка во всей Бирме? – то и дело спрашивал он Со Лея, который, смущенно краснея, стоял рядом, пристально глядя в широко посаженные глазки Луизы.

– Она действительно необыкновенная, – неизменно подтверждал Со Лей. Его признание было, по мнению Кхин, своеобразным коктейлем из одной части любезности и двух частей тревоги.

О да, ясно как день, что Луиза необыкновенна, – но необыкновенна в том смысле, что ей судьбой дарована всяческая слава или всяческие невзгоды из-за ее гениальности?

– Никогда в жизни не видел таких глаз, – еще один из рефренов Со Лея.

И это правда: глаза у Луизы были поразительные. Не только из-за необычной формы – гибрид лани и змеи. Не только потому, что необычно широко расставлены и грозно сверкали над фарфоровыми щечками. Невероятными эти глаза делал взгляд – обезоруживающий, в упор, проникающий вглубь, требовательный, почти угрожающий. Да уж, от таких глаз хочется сбежать и спрятаться подальше.

Неужто именно это им и придется делать – бежать и прятаться? – думала Кхин к концу 1941-го, когда Аун Сан, по слухам, ушел в подполье и получил помощь от японцев, а в их квартиру буквально хлынул поток сослуживцев Бенни, которые находили здесь сток для опасных водоворотов их бесконечных разговоров. Вполне возможно, говорили некоторые из них, что в японцах бирманцы обрели потенциальных освободителей. Даже когда случилась бомбардировка Пёрл-Харбора, а затем японцы совершили и вовсе невозможное – высадились на северо-востоке Малайи, – эти англичане все равно не пытались умерить свой почти религиозный оптимизм: Сингапур неприступен, война никогда не достигнет бирманских берегов.

– Зачем беспокоиться о такой пошлой ерунде, как система воздушной тревоги, бомбоубежища, нормальная воздушная оборона и наземные войска? – поддразнивал приятелей Бенни. – Зачем отказываться от вечеринок, танцев и прелестей клубной жизни, когда военные действия так далеко?

Конечно, Британия не воюет сейчас с Японией, соглашались англичане, но поговаривают, что Черчилль направил в Индийский океан четыре непотопляемых миноносца. А то, что два из этих миноносцев тут же затонули, унеся с собой более тысячи жизней, разве не свидетельство того, что над великим *Pax Britannica* нависла угроза? – недоумевала Кхин.

К тому времени Кхин была снова беременна, Луиза уже вполне уверенно перемещалась, а также с готовностью принимала восторги незнакомцев, но Бенни... Кхин не могла отогнать мысль, что усталое безразличие, накрывшее, как маской, его лицо, было проявлением страха, с каждым днем охватывавшего мужа все сильнее и сильнее. Предчувствие войны проникло в него и теперь давило изнутри. И пока он сдерживал это давление, их маленькая семья оставалась защищенной – от внешних распрей и от внутренних раздоров.

Неприятности начались однажды вечером, когда в гости явился человек по имени Даксворт. Бенни столкнулся с ним на улице и пригласил этого бледного, чересчур болтливую парня в дом, выпить. Пока мужчины беседовали за коньяком (их «старым приятелем», как пошутил Бенни), Луиза бегала между ними, а Даксворт неодобрительно поглядывал на малышку, откровенно недовольный ее претензиями на внимание Бенни.

– Говорят, Аун Сан всплыл в Бангкоке! – внезапно выпалил Даксворт, как будто хотел достучаться до Бенни, который качал Луизу на коленях, щекоча ее под подбородком, к пушему восторгу малышки.

Даксворт говорил по-английски, но Кхин уже понимала язык слишком хорошо, чтобы исключать ее из беседы (говорить она, правда, почти не отваживалась). И она была потрясена откровением Даксворта даже раньше, чем отреагировал Бенни, – прошло несколько секунд, прежде чем его колени замерли и Луиза захныкала.

Кхин поднялась, чтобы подхватить малышку, а Бенни с недоверием все смотрел на приятеля.

– Аун Сан, говоришь? – медленно переспросил он.

– Ясно как день, – продолжил Даксворт жизнерадостно, с кривой хитроватой ухмылкой. – Все это время торчал в Японии, учился у джапов, тоже мне освободители – мелкие заморыши. Говорят, он стал настоящим самураем. И сейчас собирает всех, до кого может дотянуться, в свою прояпонскую Армию независимости. Держу пари, дакойты и прочая политическая сволочь уже в строю.

– А ты когда собираешься? – спросил Бенни.

Кхин сначала подумала, что Бенни намеренно оскорбил друга, предположив, будто Даксворт встанет в строй с мерзавцами. Даксворт тоже на миг остолбенел. Оторопело уставился на Бенни, но тут же расплылся в подчеркнuto дружеской улыбке, за которой последовал несколько вымученный смешок.

– Нет нужды спасаться бегством, – проворчал он и залпом допил остатки коньяка. – Я никогда не сомневался в британцах.

Единственным признаком того, что Бенни встревожен, была едва заметная морщинка у него между бровей. Зато к следующему утру, в канун Рождества, эмоции захлестнули его, он носился по гостиной из угла в угол, склоняя на все лады Даксворта – «будь прокляты британцы вместе с бирманцами» – и настаивая, что им надо прислушаться к голосу здравого смысла и бежать из страны.

– Если джапы заявятся сюда или вторгнется армия Аун Сана, мы погибли, – взывал он к Кхин, которая готовила на кухне завтрак для Луизы. – Не только все, кто работал на британцев, – не только белые. Все, кого британцы привечали. Все, кого бирманцы ненавидят.

Кхин старательно выпаривала воду из вареного ямса, толкла его в пюре, потом усадила Луизу за стол в гостиной, принялась соватьстряпню в жадно раскрытый детский ротик – все это лишь для того, чтобы заставить Бенни замолчать. Ей казалось, что он подталкивает ее к обрыву, за которым бесконечные скитания и бесконечное горе.

– Ах ты, грязнуля! – подтрунивала она над Луизой, чьи замурзанные щечки и счастливый смех словно подтверждали мамину идею: если упорно держаться привычной жизни, грозные тучи непременно рассеются.

– Ты меня слушаешь? – Бенни внезапно вырос прямо перед ней. – Потому что у меня такое чувство, что ты все это не принимаешь всерьез.

У нее же было чувство – или так настроены ее каренские уши, – что в последнем признании звенело эхо беззвучного крика отчаяния. В его тоне отчетливо звучало обвинение, словно угроза, нависшая над ними, напрямую связана с ее нежеланием признать это.

Ей захотелось отбросить ложку и выскочить вон. Но вместо этого Кхин схватила салфетку и начала ожесточенно вытирать измазанное ямсом лицо дочери.

– Послушай меня, – сказал Бенни все так же решительно, хотя уже без обвиняющих интонаций. – Моя мать родом из Калькутты. Мы можем уехать туда, и мои тетки нам не указ.

– Те самые тетки, которые хотели, чтобы ты умер, если станешь христианином?

– Я *точно* умру, если сюда заявятся джапы.

– Тогда тебе нужно уехать.

Смысл своих слов она осознала, лишь когда отвернулась от гримасничающей малышки и увидела округлившиеся глаза мужа. Если бы только попытки спастись, спасти их всех – разумные и мудрые, наверное, – не казались предательством... предательством того, в чем она

и сама не была уверена. Но Кхин отчаянно хотела заставить его почувствовать именно этот болезненный, ядовитый укол измены.

– Ты хочешь сказать – без вас? – уточнил он.

– Ну разумеется, – ответила она, не обращая внимания на начавшую буянить Луизу. Возмущение малышки словно подарило голос чувствам самой Кхин. – Ты сомневаешься, что я буду верна тебе до твоего возвращения?

Бенни недоуменно скривился. Вплоть до этого момента у него не было причин сомневаться в ее верности. Но, не выказав готовности бежать с ним, заговорив о доверии, Кхин заронила подозрения в его сердце – возможно, намеренно, чтобы он страдал, как и она.

– Но это же глупо, – сказал он. – Ты должна уехать, потому что ты тоже станешь мишенью – неужели не понимаешь?

– Ты считаешь меня дешевой женщиной, – отрезала она, уже подхваченная волной саморазрушения.

Если уж их случайной любви отпущен определенный срок, то она постарается ускорить конец, и если он намерен их чувства спасти, то она сначала их утопит. Разве не пыталась она вот так же спасти свою семью на глазах у гогочущих дакойтов, а в итоге они просто оплевали ее, когда она обнимала умирающего отца? И все последующие годы Кхин расплачивалась за ту попытку. Уж лучше было сдаться, умереть.

– Дешевкой-каренкой. Женщиной низшей расы...

– Остановись, – попросил Бенни.

– Почему ты не женился на белой?

– Я сказал, остановись...

– Разве ты не знаешь, что карены такие тупые, что их верность можно купить за цену пары коров?

Словно для того, чтобы вынудить ее замолчать – или чтобы помешать себе сделать то, о чем пожалеет, – он потянулся к Луизе, которая уже затихла и молча наблюдала за родителями испуганными, внимательными, оценивающими глазами.

– Иди сюда, мое дорогое сокровище, – проворковал Бенни, подхватывая девочку на руки.

Луиза приникла к его шее, размазав по плечу белого пиджака остатки пюре, и Бенни направился к выходу.

– Куда мы идем, папочка?

– Куда *ты* идешь? – закричала Кхин.

Он распахнул дверь и резко захлопнул ее за собой. Через пару минут она услышала его шаги на крыше, где они держали крупные игрушки и трехколесный велосипед, хотя Луиза пока не умела на нем кататься.

Кхин в отчаянии осела на пол и устала на узоры своего саронга, как будто среди них скрывалась причина ее дикой выходки. Вот бы просто лечь и умереть. Но разве она не должна жить – хотя бы ради ребенка? Возможно, в глубине души Кхин и в самом деле предпочла бы остаться и положить конец цепи случайностей, из-за которых оказалась здесь, – с этим мужчиной и этим ребенком. Но разум уже вовсю погрузился в излюбленную игру, дурацкую угадку: если Бенни останется с ней и его убьют... если он уедет, а она останется и погибнет... если ребенок осиротеет... если они все вместе сбегут в Индию, где она наверняка будет еще более чужой... Чем больше она думала, тем отчетливее понимала, что если Бенни уедет один, то она освободится от бремени выбора, а если они уедут вместе, то она превратится в обузу для него, а если он останется, то сам превратится в обузу. Она оттолкнула его, велела спасаться без нее, потому что хотела, чтобы судьба сама определила, как им жить и как умирать.

Кхин все думала и думала, вспоминала все невзгоды, которые судьба и выбор приносили к ее порогу, постигала масштаб уже пережитого, выстраданного за ее двадцать лет, и тут услы-

шала нечто странное. Стон, но не человеческий. Вой столь пронзительный, что дрожь прокатилась вдоль позвоночника.

– Бенни? – тихо вскрикнула она, понимая, что он ее не услышит, что не в ее силах защитить мужа и Луизу от неведомой угрозы, которую нес с собой этот вой. Угрозы, исходившей с неба.

Единственное окно гостиной выходило на Спаркс-стрит. Со своего места на полу Кхин не видела улицу, она вскочила, подошла к окну, смутно осознавая, что идет наперекор судьбе, которой еще мгновением раньше так самоотверженно намеревалась вручить свою жизнь.

Когда волнообразный стон накрыл ее вновь, Кхин выглянула в окно и с блаженным облегчением увидела привычный хаос: не паническую, но радостную неразбериху – цирюльник, зазывающий клиента, мальчишки, гоняющие мяч прямо в стайке странствующих монахов. Никто, казалось, не слышал того, что слышала она. Но вдруг женщина, катившая тележку, вскинула руку, указывая в сторону шпиля пагоды Суле, Кхин подняла голову и увидела, как, посверкивая во все еще ни о чем не подозревавшем небе, с полсотни самолетов летят прямо на нее – прямо на них всех.

Каким болезненно прекрасным было это зрелище, ничего подобного она в жизни не видела, но именно к нему словно готовилась всю предыдущую жизнь.

5

Передышка

С того момента и до самого окончания войны Бенни замечал красоту лишь в неожиданном. В портовой замусоренной воде, переливающейся радужными нефтяными пятнами. В крылатых статуях на куполе крыши углового муниципального здания. В отломанной кукольной голове, которую Луиза нашла на лестнице («Бедная малышка», – причитала она, прижимая к груди голову, жутковато косящую ледяными синими глазами.) В напряженных голосах британских радиодикторов, которые обещали, что Рангун удержат любой ценой, даже когда всюду шли новости, что японцы вторглись на территорию страны, действуя совместно с Армией независимости Бирмы, возглавляемой Аун Саном («В настоящий момент враг оккупирует все три главных южных аэродрома и город Мульмейн»). В битом стекле, которое сверкало по всей Спарк-стрит, неожиданно оправдывая название улицы, и освещало путь семьям, бежавшим с оптимистичным грузом скарба, под которым сгибались слуги. В Луизиной безмятежности среди взрывов, в том, как малышка прикрывала уши, только когда все стихало, будто уверяя себя, что может, если пожелает, не слышать ничего. В яростно багровом вечернем зареве, открывавшем врата трепетным ночам и пылким соитиям, чувственность которых Бенни объяснял беременностью Кхин. (*Уезжай, спасай себя*, умоляла она, задыхаясь от страсти. *Только вместе с тобой*, отвечало его не менее страстное молчание.)

К середине февраля, когда пал Сингапур, Рангун превратился в настоящий город-призрак, а потом британцы проиграли сражение у моста через реку Ситтанг, сдав, по сути, столицу японцам. Почти все «иностранцы» – евреи, индийцы, китайцы, англичане – уже были на пути в Индию, и почти все «коренное население» укрылось в деревнях. Но сейчас наконец-то поступило официальное распоряжение об эвакуации – распоряжение, которое сначала, казалось, избавило Бенни от бремени выбора: ему выдали денежное пособие за девять месяцев и официальное разрешение на выезд из страны; да, они с Кхин тут же договорились, что последуют за сотнями тысяч беженцев через Араканские горы в Индию – это был фактически официальный путь. Но когда глубокой ночью они уже готовились покинуть квартиру, в дверях, словно призрак, возник Со Лей и вновь поставил их перед мучительным выбором.

– Мы думали, ты уехал, дружище, – обрадовался Бенни, заключая Со Лея в объятия.

В последний раз они виделись в конце декабря, и с тех пор Со Лей потерял треть веса и примерно столько же надежд на будущее – так натянулась кожа на скулах, так тревожен сделался взгляд, так истощила его тело лихорадка, которая настигает только очень старых или очень больных людей.

Они согрели его одеялами и остатками бренди, а когда Луиза уснула, подтащили стулья вплотную к его креслу в гостиной. Они словно цеплялись за последние моменты в истории человечества.

Медленно, очень медленно, тусклым невыразительным голосом, временами надолго умолкая, Со Лей рассказывал, как помогал беженцам преодолеть горные перевалы между Бирмой и Индией. Он слышал, что британцы устроили пункты с едой и питьем, но когда добрался до такого («просто человек с винтовкой около бочки с хлоркой»), обнаружил десятки тысяч людей, страдающих от малярии, холеры и дизентерии.

– Почти привыкаешь перешагивать через лежащие тела, человеческие останки, – тихо говорил он. – Удивительно, как бабочки садятся на мертвых, – вы когда-нибудь видели? Тысячи разноцветных крылышек, трепещущих над раздутыми смердящими трупами. Не могу избавиться от этой картины, так и стоит перед глазами.

Дорога никак не отмечена на картах, и все, что у тебя есть, – это мужчина, или женщина, или ребенок, что бредет перед тобой, путевая нить в виде бесконечной вереницы умирающих. А тех, кто сумел пересечь границу, распределяют по лагерям в соответствии с расой.

– Есть английский лагерь, конечно. Потом для англо-индийцев. Для англо-бирманцев. Индийский лагерь – самый ужасный. Даже в своей собственной стране индийцы – люди третьего сорта.

Он словно описывал один из главных аргументов Кхин против Индии: если Бенни там и возьмут под защиту англичане, ее судьба и судьба их детей куда более туманна.

– Между тем армия Аун Сана движется на север и на запад, вбирая в себя по пути бирманцев, дакойтов, – продолжал Со Лей. – Будьте уверены, они уже нацелились на каренов. – Он посмотрел на Кхин, перевел взгляд на ее выступающий живот. – Для нашего народа в этом мире нет безопасного места.

В те три дня, что Со Лей восстанавливал силы на матрасе, постеленном в гостиной, Бенни и Кхин вновь погрузились во тьму нерешительности. По радио сообщали, что больше половины из полумиллиона беженцев погибли, многие стали жертвой японских военных, перекрывших южный перевал Тангуп, ведущий в Индию. Казалось безумием бежать навстречу вероятной гибели – особенно для Кхин в ее положении и для Луизы, столь уязвимой в ее возрасте. Но еще безумнее казалось остаться: оба и так были чужаками, но теперь им грозило нечто куда более страшное. Кхин, которая прежде готова была влиться в иудейскую культуру Бенни, видела себя только бирманской каренкой. Бенни, прежде не желавший считать себя молодым и независимым, снова стал одиноким и бесприютным юнцом. И все же оба теперь будто поменялись местами, со всей страстью выступая от имени другого: Кхин ратовала за то, что они должны бежать в Индию, а Бенни – за то, что им следует укрыться в бирманской деревне, не интересной для армии Аун Сана, и жители которой не воевали за британцев.

Потом дошел слух, что японцы в пятнадцати милях от Рангуна, что британцы, отступая, все тут взорвут: доки, правительственные здания, почту, телеграф, нефтеперерабатывающий завод. И уже через час, все еще не понимая, куда лучше направиться, в Ассам или в округ Шан, они втиснулись в битком набитый душный поезд, ползущий на север в Катха. Панический страх утонул в грохоте вагонных колес. Кхин устроилась на чьем-то чемодане, Луиза прикорнула у нее на коленях, а Бенни – единственный здесь «белый» – скорчился в проходе рядом с Со Леем.

– Он что, британский шпион? – злобно прошипел какой-то мужчина. – Он же подвергает опасности всех нас!

– Милостивый Отец наш! – начал молитву Со Лей, когда Луиза уснула на коленях Кхин. – Мы не просим, чтобы ты возвысил нас над другими своими детьми, но чтобы ты показал нам мудрость твоего милосердия. Дабы мы могли принять верное решение, и поверить, и простить по высшей твоей справедливости. – Он помедлил, и молчание его словно трепетало от сомнений. – Сегодня ночью мы помним, – продолжил он тихо, – все, от чего нас спас наш британский Отец, и просим веры в то, что в своем нынешнем отступлении из столицы он не забыл о нас, потому что отцы иногда забывают даже о самых преданных своих детях.

Мелкие неудобства – затекшая поясница, одеревеневшая шея, разбухший пересохший язык, давящая одежда – очень скоро показались ерундой; скрючившись, стиснутые со всех сторон чужими телами, они обливались потом, задыхались от вони в невыносимой жаре, температура в вагоне давно перевалила за пятьдесят градусов. Как совместить идиллические пейзажи в свете наступающего дня – молочные зеленые луга, деревушки на сваях, выплывающие из тумана, блеск позолоченной ступы и дымок очага – со зловещими черными тучами, клубящимися на горизонте?

– Нефтяные поля, – сказал Бенни, поймав взгляд Кхин. – Мы сжигаем их, чтобы джапам не досталась нефть.

– Ты хочешь сказать, наш Отец их сжигает, – поправил Со Лей. – Выжигает нашу землю, уходя.

Когда следующим вечером поезд остановился в Катха, начался муссон, и они узнали, что дорога к перевалу Таму, ведущему на северо-запад в Ассам, теперь кишит японцами. И тогда они отважно решили не задерживаться и, по очереди неся Луизу, много часов шли на восток через мокрые рисовые поля, по петляющим грязным тропам к горам Шан. И только под пологом леса остановились развести огонь и достать жестянки с фруктовым соком и сардинами, которыми Бенни набил карманы.

– Я хочу, чтобы ты взглянул сюда, – сказал Со Лей, пока Кхин укачивала Луизу. Он вытащил из кармана карту и разгладил ее на бревне около костра. – Ты все говоришь только про Шан. Но если мы пойдем прямо на север, за Бхамо, в штат Качин... – Он показал на горы, граничащие с Китаем. – Муж моей сестры родом из здешней деревни – маленькая деревня каренов, называется Кхули.

– Ты не понимаешь, – нетерпеливо перебил Бенни. – Мы не можем прятаться у каренов. Они станут мишенью, ты же сам сказал. Армия Аун Сана...

– А никто другой вас не станет прятать, – резко бросил Со Лей, свернул карту и предложил первым подежурить, пока остальные поспят.

Следующим прохладным утром примерно в пятидесяти футах от места ночевки они обнаружили семью зверски убитых китайцев. Они только тронулись в путь, привязав Луизу к спине Кхин, когда разглядели сквозь туман убитых: обнаженные мужчина с женщиной, привязанные к деревьям друг против друга, у него отрезан пенис, живот вспорот и внутренности наружу, у нее одна грудь отрезана, в вагину и анус воткнуты палки, головы у обоих свисают под странным углом, а между ними, в молодой поросли под деревьями, на груди традиционной одежды родителей лежали бок о бок трое обезглавленных детей.

Методичные издевательства над этими несчастными людьми. Особое внимание к их гениталиям. Злоба, стоящая за всем этим. Дикая жестокость. Вся сцена настолько не укладывалась в сознании, что Бенни судорожно вцепился в единственную мысль, дававшую хоть временную передышку, – что для этой семьи хотя бы закончился самый страшный кошмар, что в смерти они обрели завершение страданий, к которому мы все еще стремимся.

– Не хотел вам говорить, – прошептал Со Лей. – Они всегда так, японцы.

Невозможно было просто так взять и уйти, оставив несчастную семью с ее страданиями неоплаканной никем. Кхин с Луизой укрылись под ближним деревом, а Со Лей начал молитву:

– Господь, Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим... Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной... Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих...¹¹

Обязанность выжить толкала их дальше в путь. И какое-то время Господь – или обстоятельства – действительно помогал, несмотря на изувеченные тела, которые продолжали попадаться на их пути. Непостижимая жестокость войны не могла победить поразительной реальности их продолжающихся жизней. Обрывистые ущелья, через которые они пробирались вдоль мирно текущей Иравади. Горячий суп и шерстяные одеяла, которые просто и безыскусно предлагали им крестьяне-качины, дававшие им приют. Ветер, свистящий сквозь стены из циновок в домах этих людей. Умопомрачительный солнечный свет знойной аллювиальной долины Банмо, террасы рисовых полей, выложенные известняком, и снежные пики Гималаев вдали. А потом непритязательная простота каренской деревни Кхули – горстка хижин на сваях под облаками. И стремительное возведение ее жителями еще одной хижины, где им предложили жить и остаться здесь насовсем. Даже первый приступ малярии у Бенни, диарея у Луизы, преддро-

¹¹ Псалом 22.

вые схватки Кхин – любой телесный протест, вытесняющий чуждый элемент из организма, – казались пустяком по сравнению с японцами или бойцами Армии независимости Бирмы.

Через неделю Со Лей объявил, что уходит в Мандалай помогать беженцам.

– Говорят, весь город в огне, – сказал он.

Дело было вечером, испепеляющая дневная жара миновала, и впервые за несколько дней Бенни, истерзанный малярией, выбрался из хижины. Они с Со Леем сидели у небольшого ручья, который тек от деревни прямо в Иравади, от леса веяло свежестью и ароматом каких-то цветов.

– Через день-другой я окрепну достаточно, чтобы идти с тобой, – сказал Бенни.

Это была ложь – или отчасти ложь. Конечно, Бенни мог собраться с силами и помочь другу – или даже вступить в британскую армию. Господь свидетель, им нужно подкрепление, ходили слухи, что всеобщее отступление англичан из Бирмы неизбежно. Но странный недуг овладел Бенни. За всю свою жизнь в тропиках он никогда прежде не бывал за пределами больших городов и сейчас, по соседству с тиграми и питонами, в пугающей тишине, не нарушаемой баюкающим уличным гамом, наблюдая за мельканием теней, каждая из которых могла оказаться врагом, он постоянно должен был держаться настороже; но Бенни погрузился в удивительное умиротворение. Руки его не сжимались привычно в кулаки, как и не посещали его мысли пустить эти кулаки в ход.

– Первый приступ малярии всегда самый жестокий, – сказал Со Лей, пуская плоский камешек по ручью. – Как первый вражеский солдат, ворвавшийся на твою территорию. Тебе нужно больше времени. – Он помолчал, посмотрел на причудливые облака, собирающиеся в темнеющем небе. – Мне в любом случае проще пробираться без тебя. Джапы карена от бирманца не отличат. А тебя сразу возьмут на прицел.

– А если джапы придут сюда? Что будет с людьми, которые приютили нас?

Со Лей наконец взглянул прямо на него, раздраженно нахмурился.

– Дай-ка расскажу тебе кое-что о каренах. В нашей культуре принято давать приют незнакомцам, заботиться о них. Это странно, если вдуматься, потому что в нашей культуре также принято не спешить доверять, не торопиться впускать человека в свое сердце... – Он перевел взгляд на воду. – Но если мы впускаем человека в сердце, тогда...

Он опять замолчал. *Довольно будет, если ты останешься и позаботишься о себе, о своей жене и своем ребенке, о тех, кто так дорог мне*, вот что услышал Бенни в молчании друга, но ни тени ревности.

– Ты должен позволить им делать то, что естественно для них, – закончил Со Лей.

Через два дня он ушел.

А для Бенни вскоре естественной стала жизнь, в которой постелью для них служили обычные циновки. Жизнь, в которой убежищем был дом без стен, полностью открытый сырости, ночи и звукам жизни других людей – мытья и стирки, болтовни и пения, – заглушающим даже обезьяньи дебоши, лягушечье кваканье и крики попугаев. Жизнь, в которой люди, с которыми Бенни почти не мог объясниться, тревожились, не одиноко ли ему (*тхе ю*), не тоскует ли его душа по утраченному (*тха тхе ю*), и приходили навестить его, и были счастливы посидеть с ним рядом и выкурить сигару (*мау хтоо*), смотреть, как он читает (*па ли*), а то и распить вместе чашку домашнего пальмового вина (*хтау хтии*). Жизнь, начисто лишенная уединения, потому что это была жизнь, в которой нечего скрывать. Каждый житель деревни настолько дружелюбно относился к другим (Бенни никогда не видел, чтобы так спокойно и без смущения люди публично сплевывали и сыто рыгали, но при этом все были исключительно чистоплотны, дважды в день мылись в ручье), что находилось совсем немного поводов укрыться от чужих глаз. Поразительно, размышлял Бенни, как связана ценность уединения со стремлением к личной (в противовес коллективной) выгоде.

Бенни постепенно привык носить саронг, поначалу одеяние то и дело спадало до самых лодыжек, к бурной радости деревенских женщин, но ему нравилось вечерами в компании Луизы полоскать саронг в ручье, напоследок окатывая себя и дочь ледяной водой. Постепенно он привык к баюкающему бормотанию новых подруг Кхин, навещавших ее по вечерам, когда он погружался в объятия сна. Он даже начал смеяться, когда его поддразнивали за его обычный храп (его *мии ка тха тау*, наверное, разносился на всю деревню, будя по утрам даже петухов). Его поразило, что их насмешки были, по сути, своеобразной духовной практикой – смеяться можно над кем угодно, нельзя быть выше насмешек. Не меньше Бенни поражала и физиологичность расхожих ругательств – «выкуси пизду!» (*ау бва лии!*) или «у тебя очко черное!» (*н'киш буу тхуу!*). Даже супружество каренов (*та плау а та сер кхан*, или дословно, как он понял, «узы, которые скрепляют брак»), будучи чрезвычайно прочным, вовсе не отделяло супругов от других людей.

– Иди ко мне, – шептал Бенни ночью, и Кхин отдавалась ему, но все же она не принадлежала ему целиком, как прежде. Кхин прислушивалась, не понадобится ли кому-нибудь помощь, и лицо ее было обращено не к нему, а в ночь.

По мере того как узел их интимной близости мало-помалу ослабевал, Кхин стремительно поднималась в этом истинно демократическом сообществе и вскоре добралась почти до самого верха в своеобразной деревенской иерархии. Здесь старших почитали, а молодой человек должен заботиться о стариках или руководить – быть, к примеру, учителем, или проповедником, или военным советником. Поскольку за время жизни в Акьябе и Рангуне Кхин научилась основам гигиены, поняла важность дезинфекции, ее – отчасти и по причине того, что взялась наставлять девочек-подростков, как наводить чистоту в хижине или готовить ужин, – вскоре стали звать «учитель» (*траму*) и просить полечить приболевших детишек, а то и помочь при трудных родах. Иногда Кхин просыпалась среди ночи и бормотала названия трав, которые ей приснились, а утром, оставив спящую Луизу на Бенни, спешила нарвать лечебных растений. Когда Бенни спросил, занималась ли она этим раньше – лечила больных, разбиралась в травах, – она недоуменно уставилась на него, будто спрашивая в ответ: «А ты этим раньше занимался?» Их стремительное привыкание к новой жизни даже заставляло порой сомневаться, а было ли у них иное прошлое. (Вдобавок Бенни с изумлением узнал о немножко зловещей особенности каренского языка – отсутствию в нем прошедшего и будущего времени; «в период вчера», говорили они, «болезнь сердца забирает у меня жену».)

Но тем не менее прошлое все же вторгалось в их жизнь вместе с постоянно просачивающимися новостями: случайно появившийся каренский солдат, говоривший по-английски, рассказал об уничтожении четырехсот каренских деревень («не жителей, деревень!») армией Аун Сана всего за несколько дней. («Мужчина, женщина, ребенок – не имеет значения. Они расстреляли их и свалили тела в кучу – восемьсот человек только в одном месте».) Новости об ответных ударах каренов. О межнациональной войне. О полном отступлении британцев в Ассам. О тысячах вышедших из тюрем дакойтов, пополнивших армию Аун Сана. По временам какая-нибудь из подобных новостей прорывалась к окраинам сознания Бенни, и его кулаки почти сжимались (он даже чуть было не пустил их в ход, чтоб вздуть симпатичного парнишку, совсем ребенка еще, чей жадный взгляд застыл на набухшей груди Кхин, когда она игриво потрепала его по волосам). Иногда Бенни даже порывался действовать под влиянием слов Кхин, в которых слышалось едва уловимое разочарование в нем, пусть и звучали они одобрительно (*Я рада, что ты не такой, как Со Лей, – он никогда не собирался посвятить себя в первую очередь семье*). Но потом он смотрел, как Луиза мирно лепит пирожки из глины рядом с хижинкой, видел округлившийся живот Кхин и вновь впадал в оцепенение, едва ли не транс.

В июне Кхин, так же бесшумно, родила их второго ребенка, образцово завопившего мальчика, назвали его Джонни. Бенни скакал по всей деревне, раздавал самодельные сигары,

а соседи улыбались, радостно и озадаченно, потому что рождение ребенка было частью естественного порядка вещей. Их молчаливое принятие Джонни в общину эхом отозвалось в усталых, счастливых и одновременно встревоженных глазах Кхин и в уступчивости Луизы, претендовавшей на «ее» нового малыша. Даже настойчивые требования Джонни, чтобы его накормили, приласкали, дали срыгнуть, словно подтверждали, что это настоящее и есть их единственная реальность. Бенни почти поверил, что это навсегда.

А потом однажды оно и случилось. Тот июльский день ничем не отличался от любого другого в середине сезона дождей, начавшись с легкой мороси поутру, когда деревенские ребята семенили через площадь к школе; прояснилось к десяти утра, в этот час Бенни обычно выводил семейство на прогулку – до наступления дневной жары. Он получал огромное удовольствие, наблюдая, как Луиза изучает лесные лабиринты, с особыми приметами которых он тоже начинал знакомиться: ягодные конусы можжевельника, россыпи цветов рододендрона, поросль грибов, про которые Кхин сказала, что они съедобные; влажный горячий пар, которым исходила земля после дождя. А потом собирались грозовые тучи и дети стремглав бежали обратно через площадь, прежде чем хлынет послеобеденный ливень, а Бенни с Луизой сидели рядышком дома, пили чай вприкуску с чем-нибудь сладким, что умудрялась раздобыть Кхин. Сегодня это был золотисто-коричневый леденец из пальмового сахара, и Бенни вскоре пересел вслед за Луизой к самому краю помоста хижины, откуда они наблюдали, как намокает почва, как излишки воды собираются в ручьи, текущие через слегка покатуя деревенскую площадь. Ручьи как будто толкают друг друга, правда же, сказал он Луизе.

– Смотри, каждый старается вырваться вперед, да?

– Папа, – Луиза вытянула кулачок с зажатым в нем мокрым леденцом, – а что это за дядя?

– Какой дядя? – Бенни был полностью поглощен ее нежными щечками, невозможно глубокими мудрыми глазами. Он не мог оторваться от этих глаз – и от захватывающей дух мысли, что в них отражается совсем другая душа, ничуть не похожая на его собственную.

И только через некоторое время Бенни проследил за взглядом дочери – в трех футах от их дома стоял японский солдат и смотрел прямо на него.

На миг Бенни оторопел, не веря глазам своим, он разглядывал солдатскую каску – купол с ярко-желтой звездой. Солдат вытянул из-за пояса меч и наставил его на Бенни. И Бенни вдруг осознал, как выглядит его лицо, концентрированная инородность – крупный нос, пухлые губы, приоткрывшиеся для вдоха, хотя он пытался изображать спокойствие. Последнее, что стоит делать, это бежать, подсказала интуиция. Если он сохранит хладнокровие, если будет честен с этим человеком – если объяснит, что он больше не британский офицер...

– *Куро*, – ледяным тоном скомандовал солдат, рассыпав стаккато звуков – *ккуррро* – и с отворачиванием глядя на Бенни.

И вдруг до Бенни дошло – очень простая и ясная мысль. *Это солдат, обученный убивать.*

– Ступай к маме, – спокойно велел он Луизе, понимая, что стоит ему только вскинуть руку, как это дитя, и ее брат, и их мать будут мертвы.

Медленно встал, спустился с помоста в грязь, поднял руки. Он заметил секундное замешательство солдата, а потом – будто издалека – увидел, как солдат опускает свой меч и резко бросается вперед, увидел, как собственное тело отражает волну внутренней ненависти и позволяет, чтобы его повалили, стиснули горло. Над ним возник еще один солдат – Бенни разглядел капли пота, стекающие по его щеке, сосредоточенно поджатую губу, желтоватые зубы, внимательный, озадаченный взгляд.

– Нет британский шпион, – услышал Бенни свой голос, говорящий по-бирмански, прежде чем задохнулся, когда рука, ухватившая за горло, поволокла его к деревьям.

Они орала друг на друга, эти чужаки, – и где-то далеко сквозь шум в голове Бенни слышал, как в деревне поднимается шум, как кричит Кхин, умоляет о чем-то, перекрывая плач Луизы. Все, что он мог видеть, помимо собственных ног, бьющихся в попытке освобо-

диться, это голубой просвет среди туч, над зеленым сплетением ветвей. И вот он уже за деревней, его волокут по тропе, швыряют спиной на что-то твердое – ствол дерева; сосновая кора, каждая неровность на ее поверхности напоминает его шее, запястьям и щеке, что он все еще жив. Они могли бы быть каренами, эти люди, приходит ему в голову. Такие обыкновенные, такие привычные, почти знакомые лица, искаженные напряжением и яростью. Но мысль мелькнула и исчезла. Они не люди. Они пересекли грань, отделяющую человеческое, обратились в нечто иное. Солдаты вытащили длинные мечи и принялись размахивать ими, выкрикивая не то оскорбления, не то вопросы, а магнолия за их спинами роняла дождевые капли, словно оплакивая жизнь Бенни, передавая ему последний привет.

Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас – единственный.

Ему вдруг отчаянно захотелось покаяться – перед Кхин, перед Луизой, перед мамой, которая так умоляла его быть осторожным. Слишком поздно махать кулаками – они крепко связаны за спиной. И когда животный страх колкими мурашками расплылся по коже, а сердце взвыло от дикого желания жить, острия мечей засвистели над его головой, и он закрыл глаза, и весь мир затопила скорбь.

– Это было так странно, эта внезапная тишина, – рассказывал он Со Лею шесть месяцев спустя, в феврале, когда вновь настали сухой сезон и жара, а его друг вернулся в Кхули перевести дух перед переброской на линию фронта.

Со Лей присоединился к каренским ополченцам, возглавлявшим борьбу против японцев в восточных горах, и исполнял обязанности временного командира их нерегулярного подразделения, которое ожидало помощи от британцев, – те со дня на день должны были сбросить им с самолета оружие.

– Я подумал: вот она, смертная тишина, – продолжал Бенни. – Или нет, не так. Подумал, это тишина *предчувствия* смерти, когда пропало все, кроме этого жуткого ожидания, когда понимаешь, что конец совсем близок.

Со Лей искоса глянул на него. Они опять сидели на берегу ручья, и опять был вечер, как перед уходом Со Лея в Мандалай, и вновь Бенни наблюдал, как друг скрывает свои чувства, перебирая пальцами камешки. Есть в нем какая-то застенчивость, робость, подумал Бенни. Сдержанность, нежелание говорить прямо, смотреть в глаза другому человеку. Может, именно поэтому его друг не решился завести семью?

– В какой момент ты понял, что они там? – спросил Со Лей. И запустил плоский камешек подпрыгивать по поверхности воды.

– Не знаю. Помню, подумал, что тишина стоит уж слишком долго. Боялся открыть глаза. А потом потрясение, когда увидел их, почти окруживших японцев и дерево, к которому я был привязан. Все карены – вся деревня. И Кхин с детьми впереди – Джонни на плече, Луиза прижалась к ноге, с этими ее роскошными локонами и бездонными глазами. И ужас на лице Кхин.

– Расскажи подробно.

Откровенность просьбы Со Лея заставила Бенни по-новому взглянуть на друга. Или ему лишь померещилось очень личное, давно дремлющее волнение в его тоне?

– У нее иногда такое лицо, – начал Бенни задумчиво, но при этом с отчаянной решимостью, будто, ухватив нить, он должен торопиться, чтобы выяснить, куда же она ведет, пока он эту нить не потерял. – Такое лицо, когда она понимает, что ты сейчас сделаешь что-то, что разобьет ей сердце. Она будто бросает вызов. Будто подзадоривает тебя, мол, вперед, сделай это. Или будто признается, что сердце ее давно разбито – давным-давно, вдребезги. Со стороны может показаться, что она в этот момент не чувствует ничего особенного, потому что лицо у

нее такое спокойное. Но глаза... в них ярость и тоска. В тот момент я не мог сказать наверняка, она прощается со мной или умоляет быть бесстрашным.

Со Лей ласково улыбнулся, глядя на поблескивающие струи воды. А потом свет в его глазах погас, словно ему внезапно стало невыносимо грустно.

– Я бы погиб, если бы не ее отвага, – сказал Бенни, подтверждая свои права на Кхин – на то, как она заявила свое право на его жизнь, когда спасла его.

Только через несколько дней после инцидента с японцами он сумел воссоздать картину случившегося, узнав от соседей, что это Кхин собрала всех и повела в лес, где солдаты махали мечами, явно намереваясь снести Бенни голову. Когда Бенни открыл глаза и умоляюще посмотрел на нее, она вышла вперед и начала объяснять солдатам, что те совершают ошибку. Она говорила по-бирмански, и было неясно, поняли ли японцы хоть слово. Но солдаты затихли, слушая, а она все говорила – рассказывала, что этот человек вовсе не британский шпион. Что это ее мужчина, что она его жена.

– Как ты думаешь, почему они ее слушали? – спросил Со Лей.

Этим вопросом Бенни и сам задавался. Потому что она держала на руках младенца? Потому что Луиза явно похожа на него – кудрявые волосы и евразийские глаза? Или пугающее сочетание кротости и силы в Кхин не позволило солдатам игнорировать ее? Ведь они могли привязать ее рядом с Бенни, изувечить их на глазах у всей деревни – показали бы, что на милосердие можно не рассчитывать.

– Она непредсказуема, – тихо произнес Со Лей, прежде чем Бенни ответил на его вопрос, и внезапно над их головами визгливо заорали попугаи.

Друзья запрокинули головы, глядя, как проносятся наверху шумные красные и синие пятна.

Бенни хотел еще что-то сказать – задать вопрос, который никак не мог вывести на передний план сознания. Но что-то в глазах друга, в его непреходящей печали заставило придержать язык. Со Лей был старше Бенни лет на пять-шесть, ему около тридцати, а то, через что ему недавно пришлось пройти, еще прибавило ему лет. Наблюдая за ним – сидит, поджав одну ногу, глаза сосредоточенно-серьезные, лоб поблескивает испариной, – Бенни подумал, что юность Со Лея закончилась в тот момент, когда главным его чувством стало чувство собственного достоинства. И тут же нахлынула теплая волна осознания, что никогда он не любил другого человека так, как любит Со Лея. Друг его выше любых человеческих стремлений – даже такого естественного, как стремление сохранить свою жизнь.

– Можно я задам вопрос, – произнес Бенни неожиданно для себя. – Если человек хочет стать евреем, для этого существует строго определенный порядок – нужно следовать определенным правилам, предпринять определенные действия...

Со Лей настороженно покосился на него.

– А если захочет стать христианином, – продолжал, запинаясь, Бенни, – ну, тогда крещение.

– И? – удивился Со Лей.

– А если... – заторопился Бенни, опасаясь, что друг может неправильно понять – вопросы веры определенно не особо интересовали его сейчас, – а если человек хочет стать кареном – частью этого народа, что тогда нужно сделать?

Теперь Со Лей смотрел на него с откровенным изумлением.

– Это вообще возможно?

– Стать кареном?

– Да.

Вопрос словно повис в воздухе перед удивленно вытаращенными глазами Со Лея. А потом вдруг лицо Со Лея съежилось, и он разразился таким оглушительным хохотом, что даже повалился в траву.

– Если кто-нибудь захочет стать кареном! – простонал Со Лей, с трудом выдавливая слова. – Если кто-нибудь по доброй воле... – И он снова зашелся в хохоте.

Бенни не выдержал и тоже рассмеялся, сначала нерешительно, а потом во весь голос, с облегчением, едва не рыдая, повалился рядом с другом, и теперь они хохотали вместе. Хохо-тали, пока смех не иссяк, и они просто улыбались, лежа бок о бок.

– Это самая простая вещь на свете, дружище, – выговорил наконец Со Лей.

Бенни слышал, как он глубоко вдохнул вечерний воздух.

– Все, что тебе нужно сделать, – это просто захотеть.

Часть вторая Революции 1944—1950

6

Купите мечту!

В апреле 1944-го – прошло больше года с тех пор, как Бенни смеялся с Со Леем на берегу ручья, – за ним пришла японская тайная полиция. Они с семьей недавно переехали к брату Со Лея в Таравади, город недалеко от Рангуна, в котором искали убежища многие карены. В первый раз тайная полиция забрала его в штаб-квартиру, расположенную в здании школы Американской баптистской миссии, его там привязали к колонне прямо в классе. Они брили ему мечом голову, еще и еще, так что кровь струилась по лицу, заливая глаза, они угрожали ему смертью и на ломаном англо-бирманском обвиняли в шпионаже – «шпионская деятельность», эти слова они повторяли раз за разом. Они раздели его догола, затолкали трубку в горло и лили в нее воду, пока – он давился, его рвало – живот не раздулся и вода не хлынула через ноздри. Тогда они вытащили трубку и засунули ее в анус, накачали водой его кишки и зажали пенис, когда он пытался помочиться. А когда они заменили трубку твердой палкой и мучения стали такими, что хотелось умереть прямо сейчас, произошло нечто странное – он вдруг услышал голос Оззи Нельсона, оркестр которого играл хит 1930-х «Надеюсь, в твоих снах найдется место для меня». Он что, спит? Этот голос, духовые, скрипка, доносящиеся откуда-то изда-лека... *И звезды гаснут, но я не сплю, любимая, твои поцелуи сводят меня с ума...* И откуда-то совсем из бесконечности перед ним явилась сестра Адела в белом наряде – вцепилась в свой апостольник, то ли намеревается его стянуть, то ли хочет удержать – и смотрит на него в упор своими страдальческими глазами. *Пусть наконец придет рассвет, моя милая...* Ему вдруг пришло в голову, что у Со Лея похожие глаза. И почудилось, что он видит, как Со Лей бросает украдкой взгляд на Кхин с другого конца кухни, а потом приобнимает ее и они начинают танцевать... *Мне будет одиноко без тебя...*

Но нет... нет, пришел он в себя, моргая заплывшими от побоев глазами. Это все только сон. Все, за исключением двух японцев в пустой светлой комнате, примыкавшей к той, где его пытали. У него было дикое ощущение, что японцы танцевали, что за их спинами облезлый граммофон заунывно крутил старую мелодию, которая вновь и вновь возникала в его грезах. Он слышал шипение старой пластинки. Ритмичное вступление. Голос Оззи Нельсона. *Сладких снов тебе до первых солнечных лучей. Сладкие сны прогонят все твои заботы.* Неужели наяву? Он с трудом разлепил глаза, но да, ясно как день – его мучители танцевали, улыбаясь; руки бережно придерживали прильнувшие друг к другу тела, скользившие в утреннем свете.

Дверь ему открыла Кхин, когда несколько дней спустя он появился на пороге дома в Таравади. Дрожащими руками она втащила его в комнату, и четырехлетняя Луиза смотрела на него сначала с восторгом, а потом с ужасом, когда разглядела его лысую голову, испещренную порезами, а маленький Джонни просто спрятался за ногой Кхин. Потом брат Со Лея отвел его в заднюю комнату и уложил, бормоча что-то насчет того, что Со Лей только что ушел, что Со Лей вернулся в горы, что он расправится с ними со всеми, убьет всех до единого, собственными руками. Но Бенни к тому моменту отказался от слов, утратил желание облекать страдания в связные фразы. Осталось только чувство облегчения, что он больше не разлучен со своими родными, и новое, звериное чутье, что между ним и Кхин разверзлась бездна непонимания.

Он припоминал, как накануне недавнего его, Бенни, ареста Со Лей иногда заскакивал в этот дом, приносил новости с линии фронта о немногих выживших, о взрывающихся шимо-

зах¹², сожженных деревнях, о страданиях и героизме погибших. Припоминал, как во время этих коротких визитов глаза Со Лея все настойчивее ловили взгляд Кхин, а когда тот говорил, Кхин слушала с таким вниманием, которого больше не доставалось Бенни. Сколько вечеров Бенни провел, наблюдая, как она восторгается рассказами Со Лея, крутясь у плиты, как ее лицо заливают румянец испуга, благодарности – и чего-то большего?

А сейчас он лежит, весь дрожа, на циновке в задней комнате, и она расстегивает рваную рубаху, которую он умудрился все же натянуть, когда японцы неожиданно выпустили его (предупредив, что глаз с него не спустят, что он покойник, если посмеет связаться с англичанами). Она прижала ладони к нежной коже его живота, и он почувствовал ее тепло. Потом она приподняла его ягодицы, стягивая саронг. Кхин не вскрикнула, но искажившиеся черты лица дали понять, что именно она увидела: сочащиеся сукровицей рубцы на пенисе, кровь вперемешку с экскрементами, коркой застывшая между бедер, – и образы, которые вспыхивали в его сознании на протяжении семи дней, смешались с пронзительными предчувствиями насчет нее, насчет Со Лея. Он нащупал пальцами край одеяла, но Кхин удержала его руку, крепко сжала пальцы.

– Я не успокоюсь, пока ты не расскажешь мне все, – задыхаясь, выдавила она. – Что произошло, Бенни? Только не обманывай меня.

Война сделала их обоих исключительно проникательными; то, через что он прошел, должно быть для нее очевидно. К чему эти слова про «обман»?

И, словно возвращая зерно ее сомнения в его честности, он вдруг солгал – самым неприкрытым образом солгал.

– Ничего, – сказал он голосом тихим и охрипшим из-за трубки, которую вталкивали ему в горло. Раздраженным голосом. *Ничего.*

А потом произнес вслух то, что крутилось в голове с самого возвращения домой, а может, с тех видений, которые преследовали его во время пыток:

– А что произошло с Со Леем?

Ее взгляд застыл, он почти физически ощущал, как обрастает жесткой коркой мягкий центр ее боли за него.

– Я приготовлю тебе суп, – сказала она и позвала детей посидеть рядом с отцом.

В следующие дни Кхин кормила его, мыла и спала рядом с ним, просыпаясь от его тихих стонов, перевязывая те раны, которых он позволял ей касаться. Бенни не смог бы вынести, если бы она узнала степень его унижения. Чтобы вновь заниматься любовью с ней, чтобы обрести вновь желание ею обладать (вот ведь, только что побывал на пороге жуткой смерти, а уже думает об обладании женой), он должен выздороветь, не становясь объектом ее материнской заботы, не посвящая ее в подробности пережитых пыток. Но и еще кое-что: даже когда он понял, что *не хочет* знать, считали ли они с Со Леем его мертвым и потому неизбежно обрели утешение друг в друге, он инстинктивно хотел наказать ее именно за то, чего не желал знать, – наказать, лишая близости, которая именно сейчас была ей так отчаянно нужна.

– Я понимаю, что ты хочешь побыть один, – сказала она примерно через неделю после его возвращения, когда он начал приподниматься и сам подкладывать себе судно. Она поставила завтрак на столик у кровати. Но, вместо того чтобы сесть рядом и покормить его, продолжила: – Брат Со Лея здесь, если тебе понадобится что-нибудь.

Ее жесты, интонации голоса побуждали задать вопрос, спросить, куда она собралась. Но он ответил лишь:

– Это будет замечательно.

¹² Японские артиллерийские снаряды, начиненные шимозой (пикриновая кислота или ее производные), впервые использовались во время Русско-японской войны.

Он сделал ей больно – это очевидно. Но выражение ее лица означало также, что она принимает его отказ от помощи.

– Значит, ты не будешь возражать, – тихо сказала она, – если я начну немного помогать в больнице. Я ходила туда за лекарствами для тебя, и им очень не хватает рук.

– Разумеется, – ответил он, изо всех сил стараясь прямо смотреть ей в глаза.

Одно твое слово, молил ее взгляд, только одно слово нежности, и я опять буду твоей.

– Бенни... – запнулась она. – Когда ты пропал, я пыталась...

– Я знаю, – перебил он.

Не мог он этого вынести – не мог вынести откровенного желания и раскаяния в ее глазах, в которых видел лишь отражение собственного бессилия. Он потянулся за плоской риса с яйцом, как бы отпуская жену. Но в склонившемся к нему лице все еще отражались сомнения, надежда – в общем, то, что привело ее к нему в комнату.

– Давай никогда не будем об этом говорить, – пробормотал он.

Если с началом войны он просто отстранился от жизни, то сейчас, когда Кхин проводила часть времени вне дома, он стал еще и сторонним наблюдателем жизни домочадцев, увидев их новыми глазами. В миловидном личике Луизы проступила какая-то отчаянная решительность, точно малышка хранила страшную тайну или, наоборот, старалась забыть о чем-то.

– Мама просила тебя забыть, что случилось, пока меня не было? – как-то вечером, примерно через месяц после ареста, спросил Бенни девочку, когда та прибежала к нему пообниматься перед сном. – Может, мама велела забыть что-то про Со Лея?

Он не был уверен, о чем именно хочет узнать – что творится в душе его дочери или о том, способна ли на уловки его жена.

Луиза посмотрела на него в упор, глаза потемнели – от воспоминаний, решил он, или от стремления *не* вспоминать.

– Со Лей был грустный, – призналась она наконец.

– Правда?

– Он плакал.

– Понятно.

– Мама не велела мне забывать.

Последнее заявление прозвучало так, словно она хотела пристыдить отца. Со следующего дня Луиза завела привычку убегать из дома с маленьким Джонни, будто сторонилась чего-то неприятного. В окно спальни Бенни наблюдал, как дети скрываются в густых зарослях, а потом появляются, измазанные в грязи, с совершенно отстраненным взглядом. Словно они беседовали с деревьями или их коснулся божественный свет искупления.

– Где твоя обувь? – строго спросила Кхин у Луизы однажды вечером, когда дочь и Джонни вернулись домой после очередного долгого дня, а Бенни собрался с силами и приковылял в кухню поздороваться с ними.

Луиза стояла в дверях босиком, крепко держа за руку Джонни.

– Я отдала девочке, у которой не было ботинок, – ответила она, да так дерзко, что Кхин даже шлепнула ее по щеке.

Но Луиза не заплакала, она не раскаивалась в своем великодушии. Джонни поочередно приподнял ножки, демонстрируя, что его-то башмачки никуда не делись. Луиза так сверкала глазами, на лице у нее было такое уязвленное выражение, что у Бенни разнылось сердце.

Впрочем, к июню все они более-менее оправились. Кхин продала одно из своих колец, и они с Бенни решили купить участок земли под огород в ближайшей долине. И вот, вместе с Луизой и Джонни, они сажали горох, старательно прячась от войны и взглядов друг друга. И прикосновений друг к другу. Только когда Кхин пришла к нему как-то ночью и попыталась примоститься сверху на его ослабевших бедрах, он заметил, что тело ее снова преобразилось,

уплотнилось пониже пупка, округлилось, и это открытие мешало ему отвердеть и набухнуть в ней.

Ребенок родился в январе, когда они начали убирать щедрый урожай и сушить горы гороха, часть которого продали присмирившим японцам, потихоньку просачивавшимся в Таравади; один даже поведал со смешком, что теперь японская тайная полиция считает Бенни отчасти негром – немножко черным, немножко *куро*, поправил его приятель, показывая на вьющиеся волосы (почему *куро*? – удивился Бенни, этим словом его называли солдаты, схватившие его в Кхули). Родившуюся девочку назвали Грейс¹³, потому что даже самая мучительная жизнь – все равно непостижимое благословенное чудо. И они никогда не говорили о том, как она появилась на свет. Бенни полюбил малышку. У нее были кроткие глаза Со Лея. Со Лея, который растворился где-то в горах, оставив им часть себя, и, насколько они знали, вскоре после этого погиб.

Верноподданные вполне способны на обман. Так сказал себе Бенни четыре месяца спустя, в мае 1945-го, после того как последние японцы покинули Рангун, а больше двенадцати тысяч японских солдат были перебиты партизанами-каренами, получившими оружие от британцев. Карены – больше шестнадцати тысяч к концу войны – были не единственными партизанскими силами сопротивления, как узнал Бенни. Среди разведывательных и вооруженных формирований, действовавших в Бирме на стороне Союзников, были качинские рейнджеры, китайские рекруты, члены коммунистической партии, социалисты и даже, на заключительном этапе военных действий, Национальная армия Бирмы Аун Сана. Бенни слышал, что когда британский командующий саркастически заметил, что Аун Сан сменил сторону только потому, что Союзники побеждают, Аун Сан ответил: «Но в противном случае от перехода на вашу сторону не было бы никакой пользы, а?» Они все вместе сражались против общего врага, но вот *за* что они сражались – здесь начинались принципиальные расхождения. И после исхода японцев альянсы и обещания, которые были даны или приняты (альянсы и обещания, основанные на конкретных личных интересах, без уточнения каких-либо подробностей будущего), не могли не распасться. Бенни с тревогой узнал, что те самые британские и американские офицеры, которые в самые тяжелые моменты войны гарантировали «верным каренам» создание собственного государства или заверяли качинских лидеров в своей поддержке освобождения Бирмы, оказались гораздо менее заинтересованы в стране и ее людях сейчас, когда вновь заработала Бирманская дорога и, следовательно, было восстановлено сообщение с Китаем. И Бенни лишь качал головой, когда Аун Сан начал готовиться к войне с британцами, как только те помогли ему изгнать других врагов-империалистов. Взаимные усилия привели к взаимному хаосу и растущим подозрениям еще до официального объявления войны.

Бенни был настолько подавлен вероломством ближних и дальних, что отчаялся разобратся во всем этом. Но с исчезновением угрозы японской оккупации он неожиданно начал заглядывать в будущее – будущее, в котором ему не придется быть жертвой чьего-то предательства, или эгоизма, или злобы, но стать силой, с которой придется считаться, бойцом – да, вновь бойцом! Человеком, готовым сражаться за свою часть мечты в новой преобразенной Бирме, – готовым доказать, что он все еще тот парень, который может противостоять жизненным бурям и достичь цели.

Итак, пока по всей стране с мая по август Союзники перегруппировывались, создавая объединенные подразделения британской армии и Национальной армии Бирмы для «зачистки территории» и установления мира, Бенни предпочел игнорировать это безумие (кто может быть *менее* приспособлен к мирному урегулированию, чем Национальная армия Бирмы, чьи командиры прислуживали японцам, чьи банды дакойтов насильствовали, грабили и зверски уби-

¹³ Благословение, благодать (англ.).

вали именно тех, кто был верен британским властям?). Он предпочел не концентрироваться на том, чем каждый из участников процесса обязан каренам, которые нанесли японцам ущерб больший, чем любое другое партизанское формирование. Вместо этого Бенни сосредоточился на том, чтобы получить от британской армии нечто конкретное и существенное – контракт на поставку продовольствия. Продав первый урожай гороха джапам, он удвоил размеры своего участка и нанял нескольких каренов помочь засеять поле заново. В этой послевоенной свистопляске оказалось нетрудно убедить английского квартирмейстера, что будущий урожай будет превосходным.

Проблема заключалась только в том, как доставить англичанам этот урожай, оказавшийся почти неприлично огромным, – и эта проблема сослужила Бенни добрую службу, когда те же самые англичане решили отправить в утиль свои старые грузовики; тут-то он пустил в ход бухгалтерские навыки, обретенные в конторе Б. Майера. На деньги от продажи гороха Бенни купил целый парк из трехсот развалюх, в основном трех- и пятитонных грузовиков, которые могли проработать еще не один год, после того как их полностью перебрали толковые механики-карены из Таравади. За следующие несколько месяцев он продал половину грузовиков – в основном гражданским, которые собирались завести свое дело, – и, получив умопомрачительную прибыль, нанял флотилию барж, чтобы перевозить не только жалкий горох, но вообще любое продовольствие и снаряжение, необходимое армейским базам, – даже в Китай и Индию. Китайцы, конечно, вскоре тоже влезли в эту аферу, но Бенни, поделившись прибылью с работниками, добился того, что хорошо оплачиваемые добросовестные водители превратили его предприятие в крупнейшую транспортную компанию в послевоенной Юго-Восточной Азии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.